



**АЛЕКСЕЙ БЕРЕГОВОЙ**

# **ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ**



*Алексей Береговой*

*ДВЕ МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ*



*2024 г*

ББК 96(2Рос-Рус)83  
Б-254

ISBN 978-5-87612-108-9

Алексей Береговой., 2024 г.  
© Издательство «Донской писатель», 2024 г.

## СИНИЕ ТЕНИ НА СТЁРТЫХ КАМНЯХ

*Маленькая повесть*

*Окончилось наше лето,  
Неважно, чья вина...*

*Римма Казакова*

Конфетные бумажки, обрывки газет дружно вальсируют по перрону в обнимку с пылью, кидаясь под ноги редким пассажирам, которые никуда не спешат.

Ветер играет, закручивает серые столбики, ворошит прошлое, оттиснутое и заснувшее на старых газетных листах, забывает рты прохожих сухой горечью. Если не знаешь, даже не подумаешь, что всего-то в паре километров от вокзала шуршит галькой «самое синее в мире», такое сейчас тихое и ленивое Чёрное море.

Поезда здесь останавливаются редко, но — слава Богу! — хоть в кассе билеты есть, не нужно стоять в очереди и ждать, ждать...

Лето в этом году жаркое, какое-то пересохшее, курортники в городе снулые, тянут каторгу, разбавляя черноморскую свежесть густой асфальтовой жарой, ползают меж раскалённых чудес сборного домостроения. Эх, сейчас бы им в горы — к блеску снегов, в лес, на голый от бетона берег моря, но что поделаешь: и поесть надо нормально, и попить вовремя, и поспать удобно. Привыкли люди. Да и не так-то просто сейчас в кавказский лес, а голого, пустынного берега на Чёрном море, наверное, уже не сыщешь совсем. АвтоВАЗ с Аэрофлотом помогли гражданам «убить» черноморские курорты. Транспорт, как говорится, великое дело! И едут сейчас сюда все: даже узбеки, казахи, чукчи — кто угодно! — люди, в большинстве своем ещё тридцать лет назад о Чёрном море не помышлявшие.

Вон толстый дядька пыхтит, потеет крупно от лысины до

пазухи, но тянет, тянет в одной руке авоську с помидорами и яблоками, в другой — супругу-неразлучницу, маленькую и такую же толстую, скорее, круглую, как колобок, — повисла на локте мужа, еле-еле перебирает чебурашкиными ножками. Отдых называется! Вот им-то в горы надо обязательно...

Но только что прибывший народ ещё довольный, пестрый и шумный, плюет на все трудности примерно с высоты Эльбруса, — год же собирался, готовился, к тому же это традиция, даже если не слишком нужно, и в тягость, но как же! — на морях не побывал, не отдохнул, сезон пропал! И что попишешь, хватило же у нас ума и сил по-настоящему обжить только Чёрное море.

Но самая большая подлянка здесь — командировки! Для чего летом посылать в командировки людей в городок, где не только предприятий раз-два и обчёлся, а и работающих местных жителей десятая часть от всей ежедневной толпищи? Да и вообще, зачем тут предприятия, если природа уже так шикарно потрудилась: нате, люди, пользуйтесь, отдыхайте, не пачкайте, не ломайте — любите?! Или всё это так сложно для простого человеческого думанья?

А прелести для командировочных здесь все те же, что и курортникам: поесть — очередь на версту, в автобусе — давка, в гостинице — нервы, да и головы все время вертятся мимо цели: днём — в сторону пляжа, вечером — к городскому парку с музыкой, солоноватым бризом и терпкими кавказскими запахами. И все они за три двадцать в сутки, на которые тут, на юге, и пообедать-то толком трудно...

Народ неспешно двигается по перрону по-над голыми, блестящими полосками рельс, покачивая одинаковыми пушистыми или стеклярусными шляпами, купленными у торговки на пляже, а я сижу на наружном мраморном подоконнике, смотрю на идущих людей и мрачно размышляю. Почему мрачно? А как же иначе, если жара, пыль и море рядом, а ты в командировке

и уже завтра с утра должен быть на родном предприятии, когда до поезда два часа, — и жарюку ещё долго глотать, и на море не сбегаешь, чтобы окунуться на дорожку в его солёную ласку. Вот и приходится думать, что же выбрать, куда наклониться: в сторону «ещё» или в сторону «всего», а выбирать-то, честно говоря, особенно нечего, вот и мрачность наползает от неумения самого себя надуть.

Как оконная рама в бурю, громко стукнул репродуктор на вокзальном фронте, заорал нестерпимо громким женским радиоголосом: «На первый путь при-бывает...» Нет, не мой. До моего еще ой-ё-ёй! Хотя, если бы в кассе та черноморочка с облупленным носом и с веснушками под выгоревшими ресницами сразу бы вняла моим просительным улыбкам и смилостивилась, моим мог бы стать и этот, тогда не нужно было бы раздумывать и выбирать. Но, видите ли, следом идёт «наш» поезд и в нём мне будет удобнее, потому, что у нас с ним один родной город и общая конечная станция. Какая железнодорожная забота! А то, что его ждать надо долго и ползёт он до «нашей конечной станции» на три часа больше и всяким «столбам кланяется» чаще, — это не в счёт. Ну, ничего, попыхтим, попыхтим и вытерпим, — мы народ крепкий, командировочный. И потом, уехать с юга в тот же день, когда желаешь, уже счастье...

Через пару минут на станцию вползла зелёная гусеница. Захлопали тамбурные двери, люди быстро туда-сюда, все вдруг заторопились дико и самоотверженно: приехавшие — что не выйдут, встречающие — что пропустят, отъезжающие — не сядут, а провожающие — не поцелуют на дорожку (особенно, если отправляешь свою курортную милочку прямо в объятия мужа с тоской в глазах и с облегчением в душе — до следующего сезона или навсегда). Суета с маемой, да и только! Крики, как в британском парламенте, трепыхания, точно Майкл Джексон в танце. Вон в дверях застряли два чемодана: один — туда, другой — оттуда, у хозяек слёзы на глазах: о, как они ненавидят друг

друга! И всё это неудивительно, — стоянка-то лишь две минуты, хотя потом поезд может простоять и полчаса, — однопутка впереди, а встречный чаще всего опаздывает.

О, это уже шум посерьёзнее! Что такое? Кажется, мальчишку с поезда ссадили: проводница орёт, мальчишка ревёт, милиционер победно несёт свое пузо под чёрной, лохматой головой, тащит пацана за руку через жидкую толпу.

Что же с ним такое? Убежал откуда, что ли? Пацану лет двенадцать-тринадцать, на нём мятая-мятая пионерская форма без галстука, за спиной рюкзак явно лагерного назначения, на белобрисом чубе возвышается голубая пилотка с бубоном. Как у генерала Франко.

— Ишь, ты! Зайцем хотел и без родителей! (Как будто с родителями зайцем можно!) Я его сразу заприметила! — на весь перрон продолжает проявлять бдительность тощая проводница.

Милиционер не оборачивается, на её старания — ноль внимания, ещё меньше эмоций. Он, по всему, дядька добрый, но при исполнении, и что ему сейчас разные вопли да упирания мальчишки, даже если обеими ногами, даже если с размазыванием слёз по грязным щекам?

Мимо здания вокзала ворота на площадь. Сюда, как корабли в створ порта, стекались все, кто не остался в поезде, кому срочно надо в город. Этот поток возникает с приходом поезда и иссякает через минуту после его ухода. Не слишком густой — толпой назовёшь, — но и не редкий, так просто сквозь него не проскочишь.

И вдруг пацанёнок прямо в воротах каким-то хитрым вывертом р-раз! — и рука его свободна, тут же мигом мимо народа, чуть ли не между ног, под юбками — на площадь! Не зря же маленький и худой! И чем-то мне знакомый!.. Нет, по-казалось... Ну, молодчага!..

Милиция было следом, да куда там! Меж тел не пробиться,



---

не то, что между ног или под юбками! Тык-мык, закричал что-то обиженно вдогонку и сник. Куда с такими габарами? Пива пить меньше надо, дядя...

А пацана и след простыл.

Вот и всё. И снова скука, как банный лист... Пойти на базар, что ли? Тут рядом...

Лет пять назад я был здесь в командировке. Тогда долго: семь месяцев, — строили пионерский лагерь. И считал этот городок почти своим. И вот там, за базаром, была пивная — обыкновенный стеклянный павильон со столиками и стойкой, где пиво — в бутылках или на разлив — было всегда, и очереди почти никакой. Почему? Не знаю. Так вот, не в пиве суть, тогда мы все перед пивной ходили на базар, а там — просоленные всеми ветрами деды обвешаны вязанками, как партизаны пулемётными лентами, а в тех вязанках — чудо, вяленая черноморская ставридка! Объединение! Начинаешь чистить — жир течет до локтей! И целая вязанка всего-то за рубль. А уж если попадался «адмирал» с вязанкой царь-рыбки барабульки, тут и вообще всему конец! Вязанку в руки и бегом в пивную. Парни мы тогда были не особо пивные — вязанка как раз на пару кружек, — но удовольствия получали — гору огромную! И всё из-за рыбки. Пока это её перелущишь, стоя за столиком, пересмакуешь, пивком зальёшь, а потом ещё и пальчики оближешь...

А сейчас — ни дедов, ни вязанок, да если и попадается рыбка иной раз у спекулянтов, так там с рублём делать нечего. Короче, ни удовольствия, ни памяти, одни запреты, хоть и толкуют местные жители, что ставридка в Чёрном море ещё не перевелась. Как всегда, проутюжил запрет не тех, кто ловит тоннами, а тех, кому и килограммы-то не под силу. Но как же попробовать рыбку любителю, коль нет у него пути ни на рыбзавод, ни к чёрному ходу магазина «Океан»? Загадка. Не интересующая никого...

И так каждый раз у меня: пойти глянуть, может, подвернётся ещё какой дед с вязанкой? Знаю, что нет, но иду. Надо посмотреть...

Базар пёстрый, суетливый. Южный базар, кавказский. И цены кавказские, хотя всего валом. И о дедах, конечно, ни слуху ни духу...

А над дверями пивной вывеска: «Кафе «Волна». Сколько таких «волн» застыло по побережью! Слово другого морского названия подобрать невозможно...

А что тут изменилось? Только вывеска и цены, да вместо пива чебуреки под «Тархун». А вообще-то ловко устроено: раньше по всем забегаловкам деньги в основном за алкоголь платили, закуска, поесть — это как придаток, совсем недорого против выпивки, теперь же алкоголя нет, а деньги надо выкладывать те же или почти те же, но уже лишь за плохую еду и какую-нибудь ненужную мишуру. Борьба с пьянством за счёт непьющих! Никогда не пропадёт наше родное министерство торговли...

Зашёл. Народу совсем нет. То ли из-за ассортимента, то ли час страждущих минул. Но переставились. Вместо прежних «стоячих» круглых столиков под стеклами стен расположились большие столы, красные и квадратные, возле них появились стулья. Пожалуй, и все приметы кафе.

За крайним столом под стеклянным витражом с намалёванной жареной курицей необычайных форм и размеров сидят две красотки, обе крашенные в китайский чёрный цвет, обе с лиловыми губами и взбитыми причёсками, в рисковом курортном одеянии, но всё равно такие разные и, надо сказать, симпатичные — пьют кофе по-восточному (рекламой которого утыкан весь Западный Кавказ), и смотрят приветливо, даже с интересом. Шанс — поболтать, познакомиться! Но взгляды уж очень опытные и позы откровенные. Скучают машинки. Или недавно прибыли? Загар как будто уже стойкий... А-а, ерунда! Заумничал, зарассуждал! Бабёнки, как бабёнки, — чуточку раскованные от всего, что осталось там, за горами, и всё. Но жаль, командировка кончилась...

И я отворачиваюсь к стойке.

---

За ней — армянин (странно, без усов) трёт полотенцем фужеры. Зачем, дарагой? Шампанского всё равно ведь нет!

Показываю на рекламную курицу:

— Одну...

— Нэ мой товар, — смеётся бармен. — Ц-ц! Как жал, нэ мой товар!

Я уже выше — над головами женщин.

— Эт тоже нэту. Прасти, дарагой, не завозили.

— А что есть?

Он — классическое:

—Чебурэк!..

— Ну что, давай порцию. И бутылку воды.

Он бросил на тарелку огромный и пустой, как подушка в гостинице, чебурек. Мяса в нем с головку воробья. Зато жир льется почище, чем из ставридки, да к тому же свиной и горячий. Слушай, ну в какой армянской семье готовят такие че-буреки? Кто тебя научил? Мама? Или наш дорогой общепит? Впрочем, ты наверняка здесь не причём. Твое дело швырять их на тарелку да считать деньги. А путь их рождения долог и расплывчат, как берега в тумане. Ты же можешь в перерывах спокойно тереть фужеры и не печалиться... Нет, у ставридки жир все же приятнее...

Девушки быстро допили кофе и ушли без прощальных взглядов. Наверное, чуток обиделись. И презрели. На смену ввалилась голодная семья. Папа, мама, дочка, дочка, сын и еще дочка. А может, — племянники. Или соседи. Все взрослые, сильные, загорелые и целеустремленные — кратчайшим путем к стойке и загомонили. А мне пора на улицу. Покурить где-нибудь в тенечке да потихоньку двигать на вокзал.

Сижу, курю. Вид у этой части улицы теперь какой-то занюханный. Похоже на задний двор базара. Несколько больших плапанов, в их тени — скамейки, за ними — чахлый ряд стриженных кустов и дальше — проезжая часть, которая никуда не ведет,

упирается в глухой забор какого-то завода. На той стороне улицы серые, оштукатуренные пятиэтажки, на этой — под базарным забором — ряд разномастных павильонов из стекла, железа, фанеры и еще чего-то, сквозь решётку забора видны мусорные ящики на базаре и огромный, как дворец спорта, туалет. Удачное место для отдыха, потому и людей мало. А когда-то здесь кипела жизнь! Изменилась улица... Ну, пора и мне сваливать...

А-а, старый знакомый! Впрочем, действительно старый! Ну почему мне опять кажется, что я тебя где-то видел? И не пойму где! Шагает, не прячется и даже не оглядывается, — успокоился парень.

— Иди сюда...

Смотрит хмуро, подозрительно.

— Иди, я не кусаюсь...

Подошёл нехотя, стал столбом, глаза бегают, как у кошки на старых детских ходиках.

— Есть хочешь?

Молчит. До чего же рожа грязная!

— Ну, голодный?

Опять молчит, но не уходит. Конечно, чего я спрашиваю? В глазах детей голод проступает чётко. Но надо его похвалить...

— А ловко ты от того пузатого смылся! Молодец! — Ой, как опрометчиво, сразу деру! — Да подожди ты! Не собираюсь я тебя сдавать.

Остановился. В глазах мелькнуло какое-то доверие.

— Пойдём, погрызём что-нибудь, а?

В кафе «Волна» семейство уже доедало свои чебуреки, целеустремленность была проглочена вместе с тестом. Теперь они сыто смеялись и никуда не спешили. Но нам-то поспешать просто необходимо.

— Слышь, друг? Пацана надо покормить. Хорошо покормить, видишь, давно не ел.

— А кто он? — тоже шёпотом.

---

— Без понятия. Просто голодный и всё.

— А-а, уловил! — Бармен скрылся в подсобке. Вышел из боковой двери, на подносе у него тарелки: одна с нарезанными помидорами и огурцом, на второй большой кусок курицы (нашёл все-таки!), на третьей (ну все равно сунул, козел!) пара чебуреков. Покидал тарелки на стол, воткнул в середину бутылку «Тархуна», потом порылся в кармане, достал громадное яблоко, потёр его о рукав и протянул пацану:

— От меня. Дэсэрт! — и под моим взглядом:

— Понимаешь, брат, нэту куры, нэту. Жэна на базаре покупал, мне на обэд варыл, но рэбёнок же... — И в ответ на мою улыбку уже довольноно:

— Кушай, малчик, будь здоров!

А «малчик» уже ничего не слышал, ничего не замечал, он уродовал крепкими зубами куриный бок.

— Да не спеши ты, подавишься!

— Д-два дня-я щ-щитай не ел! — промычал он набитым ртом. Нет, так нельзя, придётся ждать пока от козлика, то есть от курицы, останутся...

— Ну, не торопись...

Пацан, кажется, понял, реже задвигал челюстями. Он жуёт, я жду. Потом не выдерживаю:

— Зовут тебя как? Ты ешь, ешь...

— Женька...

Ну, точно — Женька. Только какой Женька, не помню.

— А вас как?

— Саша. Дядя Саша. Едешь-то куда?

— Домой, — он назвал город.

— Ну, надо же! Земляк!

— Да? — зелёные глаза его довольно вспыхнули.

— Точно. Откуда сбежал? Из лагеря?

— Из лагеря, — мотнул головой. — Почём вы знаете?

— По форме. Так один и добираешься? Середина потока...

— Да эта...

— На самом деле сбежал?

— Сбежал, — кивнул, наморщив лоб.

— Что ж ты так?

— Да эта... С вожатой поругался. Наклепала она на меня.

— Да ну?

— Не-е, точно. Она поздно прогуляла, — они, вожатые, всегда гуляют после отбоя, как нас спать уложат. А Витька Чайник в воздушный шар воды налил с полведра, наверно, ниткой перевязал и ей под одеяло. Она пришла, темно, свет же не зажжёшь, — и плюхнулась. Вода ка-ак польётся, ка-ак потечёт по полу, все как захохочут, кто-то кричит: «уссалась!»

— Что, не спали?

— Не-е. Ждали. Один Витька Чайник притворился, вроде спит, не смеялся даже. Он опытный. А она раздухарилась, кричит: «Это твоя, Журавлев, работа, я тебя завтра к начальнику лагеря поведу, я тебе всё припомню!» А я при чём? Что рядом с ней сплю, да?

— Что, плохая вожатая?

— Да не, вроде.

— Тогда зачем же вы ей так?

— Да Витька то! Не может он, — для хохмы, говорит, для смеха!

— Вот оно что. Болезнь?

— Наверно. А она возьми — и на меня. А Витька вроде спит, аж бульбы пускает. А я опять: «Не я это». А она свое орёт: «Ты и всё, — я знаю!» И утром меня к началке. И как будто всё до отбоя было. У меня никто ничего не спрашивает, я молчу, а началка орёт: «Хулиган!» Сама маленькая, а как гудок пароходный. Кричала, кричала, я ей опять говорю: «Не я это». А началка: «Тогда скажи кто?» Во им! — Женька сложил из грязных худых пальцев внушительную дулю. — Не, я им не показал, только подумал, а потом сказал: «Врёте вы все. И Валька-вожатая, и вы,

---

Маргарита Павловна». Так она на меня: «Сегодня на вечерней линейке мы всем лагерем тебе наказание придумаем». Только не вышло у них.

— Удрал...

— Ага! Рюкзак отнёс, спрятал в кустах. После завтрака уборка территории, я взял ведро, как будто мусор понёс, возле ящика — забор, я перелез и — в лес. До свиданья! Нашли виноватого! «Всем лагерем» А Валька — дура, не понимает, что после линейки над ней в каждом отряде ржать будут. Хотя и вредная она, а жалко.

— Да, своеобразная у тебя жалость.

— А чё?

— Да ничё. Ну и как добирался?

— Нормально. Где на поездах, где на электричках. Днём — хорошо, ночью — хуже: все цепляются: откуда да куда?

Женька налил в длинный стакан «Тархун», отпил половину какими-то бегемотскими глотками, потом сбегал к стойке, выпросил у армянина полиэтиленовую трубочку. Стал тянуть напиток не спеша, удовлетворённо, в глаза его будто кто капнул из маслёнки.

— Ну и что же мы будем делать?

— Я — домой! — Женька выплюнул трубочку в стакан, напрыгав к выходу. — Я...

— Да не прыгай ты! Сказал же, не поведу сдавать.

— Дядь Саш, не хочу я в лагерь, нельзя мне. Домой надо. Я поеду...

— А как же Валька, началка? Пусть бегают, с ума сходят?

— Сами виноваты... — тут же с испугом:

— Я напишу им. Ну, доехал, жив, здоров, мамка не ругает.

— Да, молоток, нечего сказать! Пока твоё письмо придёт, они сами уже дома будут.

Женька растерянно моргает глазами.

— Ну, уяснил? Лагерь твой где?

— Да аж под Сухуми.

— Ничего себе! Полпути отшлёпал. Адрес-то знаешь?

— Знаю.

— Говори, — я достал записную книжку.

Он протараторил адрес скороговоркой. Записать это было невозможно. Я спрятал книжку.

— Ладно, потом. Значит, так, я тоже домой еду. Мы с гобой вроде как попутчики. Сейчас зайдём на почту, дадим в лагерь телеграмму: не беспокойтесь, мол, доехал, всё в порядке. Придётся врать, но смотри, это так, в виде исключения. (Покрыть чью-то глупость, поберечь их же нервы.) Дома, мол, тоже всё нормально. Понял? Потом — на вокзал, берём билеты и едем. Договорились? Он смотрит в стакан.

— Ну чего ты?

— Денег у меня нет.

— У меня есть. Немного, правда, но хватит на двоих.

— Вы мне чужой, чего я у вас буду брать? Не надо мне.

— И как же ты думаешь добираться?

— Доберусь как-нибудь. Сюда приехал? Сами говорили: полпути.

— Резонно. Только сколько времени потребовалось?

— Два дня.

— Ну вот, значит, ещё два дня нужно. А я так не могу, мне на работе быть надо.

— Я сам доберусь.

— Ну, это совсем нечестно... Давай договоримся так: я займу тебе на билет, отдашь, когда сможешь, лады?

— Лады,.. — глаза его чуть оживились, зубы снова поймали полиэтиленовую трубку. Не хотелось, видно, пацану опять маяться по поездкам да прятаться от проводников, милиции. А так, вроде бы, никто и ничего и не теряет. Переросла гордость пацана, но великое дело — компромисс! — Я у мамки возьму...

— Тогда торопись, — я глянул на часы. — Времени у нас на



---

всё сорок минут. А сейчас — вон раковина, пойдёшь, умойся, а то нас в поезд не пустят.

Он убежал, словно его послали за мороженым, а я подошёл к армянину.

— Привет, друг, спасибо! — Положил на стойку пятирублёвую бумажку.

Тот раскатал губы в широкую улыбку, закивал.

— Усы отрасти!

— Обязательно...

Какая все же прелесть эти маленькие городки. Всё рядом, людей мало и тишина. Только в этом городке домов и всего прочего — на один, а народу — на все десять таких городов. А это уже хорошо, но не слишком. На почте пришлось трясти билетом и лезть без очереди. Видимо, час был такой, когда все это самое население напоминало любящим родственникам о своем существовании.

— Мать-то как зовут? — Я дописывал телеграмму.

— Вера.

— Так, Вера. Простит она нам это вранье?

— Да что вы, мамка добрая! — глаза его лучились уверенностью. Как хорошо, когда один человек уверен в другом! И как редко это бывает. Только, пожалуй, мать неизменна.

— А фамилия?

— Чья?

— Матери?

— А-а. Тоже Журавлёва.

— Так, Журавлёва. — «Журавлёва... Журавлёва Вера...» Журавлёва Вера?! Что такое? Да нет, ерунда какая-то, не может быть! Журавлева Ирина! Что это ты, засранец, всё время нагоняешь на меня смутные воспоминания, тревожные мысли, а? — Ладно, идём, время тикает...

На вокзале у облупленного носа билета, конечно, не оказалось. Что мы — простые советские люди — в таких случаях

делаем? Или досадливо морщимся и уходим, или поднимаем скандал, или в срочном порядке становимся иллюзионистами и начинаем выкидывать фокусы с сахарной пылью и розовым ветром. Первые и вторые приёмы совершенно бесполезны, на третьи есть надежда.

Для начала внушаем через стекло, что перед ним находится очень весёлый, остроумный и вообще симпатичный человек, который просто обожает всех на свете кассирш (или продавщиц, или приёмщиц), и очень любит с ними общаться — то есть хоть как-то, но свой. Затем утверждаем аксиому, что за стеклом сидит самая обаятельная, красивая и добрая девушка (или нестареющая женщина что надо! или просто очень хорошая тетка — в зависимости от самого объекта), которая не может не помочь своему. Но ни в коем случае не выливаем на голову весь мёд сразу, только постепенно и осторожно сладим, понемногу намазываем. Всё это с одной целью: организовать интерес к себе и, естественно, к своим трудностям. У них на лицах всегда ведь защитные маски. Сорвать её — увидеть живого человека! Это самое трудное.

Ну а дальше, как получится — обстановка подскажет, но ведь и натолкнуться на глыбу гранитную, холодную и бесчувственную, услышать в свой адрес что-нибудь категорично-грубое, произнесённое как бы по праву, — это ведь тоже запросто. Тогда уж точно — пиши пропало! И что же нам остается делать? Но хвала тому, что женщины обожают комплименты и лесть с языка мужчин. Этим и пользуемся. Постараться лишь надо. Только от досада берёт постоянно: чего это мы такие ушлые, крутим-вертим, изощряемся, словно не они для нас, а мы для них?

Билет там достал или колбасы кило, гордимся, будто на Эверест взобрались. Противно, как средство от поноса, но пользуемся, когда приспичит. Куда денешься? Не топтаться же вечно на месте? Ведь задумано всё каменно, исполнено железно: не хочешь — не бери и вообще вали отсюда, не мешай работать.

---

А вся работа как бы в том и состоит, чтобы не дать. Ну ладно, ближе к делу, к кассе то есть.

После недолгих отвлечений и комплиментов, вроде всемогущей, прекрасной феи, перехожу вплотную:

— Девушка, милая, — старательно строю глазки, рисую на лице лирическую, чуток загадочную улыбку, — не дайте погибнуть! Пацана к маме надо срочно доставить. Неужели, вы, да не найдёте билетика, не поможете нам?! Всего лишь один детский!

— Сколько ему лет?

— Двенадцать! — говорю наобум лазаря или примерно, а тот, дурень, горделиво поправляет:

— Тринадцать!

— Тринадцать — надо взрослый.

— Ну, взрослый, а?

— Сразу почему не брали? — сказано так, словно всё время тут, перед кассой, толпилась стотысячная очередь и билеты разлетелись, расхватались, как куски хлеба в голод, и теперь я требую невозможного. Но шанс все-таки появился: она меня запомнила.

— Да вот, неожиданно-негаданно. Пришлось брать с собой племянника, — вру безбожно первое, что приходит в голову. — Но неужели такая симпатичная девушка — лучший кассир на этой дороге — не поможет нам? Вот она, моя судьба в ваших пальчиках! — протягиваю к ней руки, точно подаю судьбу.

Женька, кажется, тоже все понял. Земляк же! И теперь льстим, гнусаем, поём дифирамбы, строим улыбочки, пускаем восхищенные взгляды, даже гордость выказываем (весьма умеренную, правда) уже вдвоем. А в душе у-ух ка-ак ки-пи-ит! И наконец:

— В плацкартном поедете?

— Хоть на крыше!

— Идите сдавайте билет.

— Куда?

— К администратору. Только при сдаче потеряете двадцать пять процентов стоимости.

— Да за что же такое наказание?

— Вы сдаете билет за двадцать минут до отхода поезда, — Стучит карандашом по стеклу. — Читайте...

И правда, сбоку на стекле от потолка до стойки громадная, как заснеженное поле с малюсенькими чёрными буквами-кочками, простыня-инструкция. В густой мешанине кочек пытаюсь найти касающийся меня пункт. Да уж куда там, если до поезда всего-то... Да хрен с ними, с тремя рублями и их заботливыми инструкциями, пусть железная дорога разбогатеет, а нам ехать надо, пока чего-нибудь ещё не придумали!

Бегу к окошку администратора.

— Мне билет надо сдать!

В ответ веет олимпийским спокойствием.

— Билет мне надо поменять, поезд уже подходит...

В ответ то же самое, что-то пишет в журнале.

— Девушка! — Хотя девушке лет сорок пять!

— Слышу, чего кричите?

— Да билет!..

— Подождите...

Жду, глядя на часы и мечтая о том, что и у нас когда-то будут кидаться на-встречу клиенту. Чем эта толстая тетка занята, непонятно...

— Фамилия?

— Новицкий!

— Распишитесь...

Расписываюсь в широкой, как Чёрное море, ведомости. И вот, шлёп на билет маяк наших общественных отношений — штамп!

— В кассу!

Бегу в кассу. И курносая черноморочка, улыбаясь, забирает билет, потом говорит в чёрную трубку:

— Люся, два плацкартных на четырёхста пятьдесят шестой, так... есть, принято.

И мне:

— Доплатите девять рублей.

— Ну, спасибо, девушка, выручили...

Кажется, она довольна тоже. По крайней мере, на лице её цветёт улыбка благотворительности.

Ну, всё, два малюсеньких кусочка картона, чуда железнодорожных экономических связей, у меня в руках. Вот так-то, Женька! Не зря говорится, кто ищет, тот всегда найдёт! Теперь ты можешь не бояться горластых проводниц и толстых милиционеров.

Женька рассудительно, но совсем некультурно шмыгнул носом.

Проводница в нашем вагоне оказалась совсем не горластой, только чуточку сердитой. Видимо, это от ответственности. Она вышла в тамбур с веником в руках и очень удачно вымела мусор мимо нас в открытую дверь вагона. Даже не засыпав при этом никого из пассажиров. Ни входящих, ни выходящих. Их просто не было. Кроме нас с Женькой. А мы увернулись. Женька посчитал, что она сейчас будет подавать какие-то сигналы веником, застрял в тамбуре — полюбопытствовать, как это делается, я остановился, дожидаясь его, но проводница мигом шурнула нас в вагон, послав вдогонку:

— Занимайте, где свободно!

А свободно было почти везде. Старая неразрешимая загадка железнодорожного сервиса! В кассах билетов нет, а поезда ходят полупустые. И все к этому привыкли.

Мы проходим в середину вагона и совершенно обоснованно устраиваемся в пустом плацкартном купе. Женька с ходу полез на верхнюю полку, застланную грязным матрацем.

— Э, друг, ты куда?

— Да я в окно смотреть.

— Постели получим, тогда полезешь.

Он недовольно шмыгает носом, но сдаётся. Смышлёный, видать, парнишка, знает, что долго ждать.

И почему это мы так завыкли: куда ни придёшь, где ни объявишься, траванёшь сначала душу злой мыслью, попытишь недовольно, но молча, — а что от этого изменится? — и тут же начнешь привыкать? Ко всему способен привыкнуть наш человек! А может, лучше начинать привыкать сразу, без лишнего пыhtенья? Так и короче, и спокойнее, а результат всё равно тот же...

Ну, кажется, поехали! Вокзал за мутным стеклом поплыл назад, потянулся к морю и люди на перроне — откуда ни возьмись? — замахали руками, занервничали. Потом появилась проводница, отобрала билеты, как паспорта в милиции, за-сунула их в свой многоклеточный футляр из дерматина и, приняв от нас настоящие советские рубли, разрешила Женьке прийти за постелями.

Мы стелим простыни — я внизу, Женька надо мной, — а поезд всё ещё грохочет по последним стрелкам станции, длинной и запутанной, втиснутой в ущелье. Состав втянулся в горы, и сразу в вагоне стало сумрачно, окна — зелёными от близкого леса на склонах, а небо — далеким и узким, и то, если прижать нос к стеклу и посмотреть вверх.

Потом наш генерал несёт чай по коридору, рейса за три управляется из-за малого количества потребителей в этом вагоне, а мы достаём из моего старенького дипломата — спутника во всех командировках — пакет с печеньем. Ужин — не ужин, но все-таки ложиться спать не на пустой желудок.

В вагоне тихо. Только чуть звякают стаканы да где-то слышатся, приглушенные стуком колес, голоса. Никто не делает самого противного: не бегают взад-вперед по коридору, отправляя свои якобы неотложные дела. Но какие могут быть дела у человека, который должен только ехать и ехать к месту назначения? Скажи

---

им, что это всего лишь нервы, зуд, — не согласятся, обидятся, почтут за хамство даже. Вот и молчим, и терпим, надеясь на чужую сознательность.

За окном синеют горы, убегая назад, отдаляясь и вновь зажимая поезд тискаами своими зелёного бархата, а мы пьём невкусный, пахнувший запаренной соломой азербайджанский чай, — бурые пакетики раздутыми трупами плавают в стаканах, — и неспешно беседуем. И странно, чем больше Женька рассказывает о себе, тем сильнее у меня интерес к нему. Есть здесь что-то такое...

— В городе где живешь?

— А вы зайдёте к нам, дядя Саша?

— Это надо?

— Очень! Не, вы зайдите. Деньги я вам отдам. И меня мам-ка тогда ругать не станет. Она у меня добрая... обрадуется.

— А ты?

— И я, знаете как?! Но про улицу пока не скажу, ладно? Я вроде сам с вокзала приеду и вас приведу. Мне так нужно.

— Ну, раз нужно...

Мы уже старались понимать «нужности» друг друга.

— Да пацаны на улице не поверят, что сам доехал аж от Сухуми. Это не в счёт, что я с вами, всё равно один добрался бы, я знаю. Доехал бы, и ничего они со мною не сделали бы. Я знаете, какой отчаянный? Не верите?

— Верю, почему не верить?

— А то скажут: набрехал, дядька какой-то привёз, как маленького.

— Договорились.

Он притих, довольно хрумкая печеньем.

— Ты с кем живешь?

— С мамкой.

— Вдвоём?

— Да.

— А батька где же? — задал я вопрос и осёкся. Женька перестаёт жевать, смотрит в пол.

— Нет у меня батьки. Помер. Мне тогда два года было. Болезнь какая-то у него.

— Мать замуж не вышла?

— Нет. Она у меня красивая! Да зачем ей замуж? Так я ж у неё есть. И сеструха, когда ... Ничего, обходимся.

— Трудно ей, наверное, с вами было. Ты вот ей, такой красивой, подарочки преподносишь.

Он насуплено молчит, но глаза его светятся правотой. Да поймите же, не мог мужчина поступить иначе, хотел, но не мог!

— Сеструха, говоришь, а живёте вдвоем?

— Так она уже здоровая. Муж давно у неё. Офицер. На Севере живут. К нам только иногда летом приезжают и то ненадолго: дела какие-то у них — то на море едут, то еще куда-то,.. — он погрыз печенье, глотнул чаю и посмотрел в фиолетовый сумрак за окном. — В этом году ещё не приезжали, но должны скоро. Юрка, муж её, — мужик ничё, а сеструха сейчас вредной стала. Как замуж выскочила. Лучше б не приезжала вовсе.

— А что так?

— Да ну её! Мать, если что, по шее раз стукнет и всё, а та ка-ак начнёт пилить, воспитывать, точно пылесосом по шкуре, — аж тошно делается. Мамка говорит, она у нас теперь дюже грамотная, все книжки прочитала, как детей воспитывать.

— Не понимает она тебя?

— Кто?

— Сестра?

— Не, не понимает, — довольно соглашается Женька. — Да вы не бойтесь, она ж культурная, не станет при вас. Да и не приехала она ещё.

— Вот зачем ты меня так усиленно с собой тащишь...

— Да нет, что вы! — Женька явно обиделся, даже засопел. — Я же просто, я же хотел, поговорили бы, мамка бы на вас посмотрела...



---

Без отца растёт пацан, всё понятно, только не гожусь я ему в отцы. Даже по возрасту...

— Ну ладно, замолкнем на эту тему, — предлагаю я миролюбиво. — Раз договорились — действуем! Мужики мы или нет?!

— Мужики! — весело подхватывает Женька.

— Мать работает?

— Работает.

— И ты днями один?

— А чё мне будет? Я привык.

— Учишься как?

— Нормально учусь, как все.

— Вон смотри, длинная гора, видишь?

— Да!

— Будто человек на спине лежит. Похоже?

— Здорово! — Женька уставился в окно. — Ещё как похоже!  
— Гора была бесконечной, поезд идёт мимо долго, и Женька не отрывается от окна.

— Грузин, что ли? — спрашивает он через минуту.

— Горец. Вон папаха, вон черкесска, усы, нос...

— Вы, наверное, часто тут ездите, — горы знаете.

— Приходится иногда. А начинал, как ты, — с пионерского лагеря. Вот тогда кто-то и показал мне эту гору.

На стекла вагона понемногу липнут редкие сумерки, поезд, очертив дугу, снова втянулся в ущелье, горы сдвигаются, и вдруг вплотную подступает вечерний лес.

И вот уже в вагоне совсем темно, окно чуть светится лиловым квадратом, горы слились в сплошную чёрную стену, потеряли формы. Тускло загорается жёлтым светом коридорная лампочка, фонарь в нашем купе на все щелканья выключателем отзывается полнейшим пренебрежением.

Женька уже клюёт носом в стакан.

— Ну что, земляк, спать будем?

— Да не, я... — он положил печенье на столик, откинулся на спинку дивана.

— А что, плясать?.. Давай, давай наверх! — На полку он карабкается шустро, явно довольный. Намаялся пацан, неизвестно где еще спал прошлую ночь. Да и позапрошлую.

Женька ткнулся головой в подушку и, как говорят, сразу отрубился: дышит ровно, чуть посапывая своим дерзким носиком. Хороший парнишка! Я смотрю на него и снова почему-то чувствую, как дрогнуло сердце. Нет, что-то знакомое в нём есть, это точно...

Ну ладно, пора и самому ложиться. Лампочка молчит, всё о не считаешь. Или пойти покурить перед сном?..

Женька проснулся рано. Все утро лежит на верхней полке — руки под щеки, — смотрит в окно и о чём-то думает. Что-то слишком серьёзный он сегодня, грустную зелень излучают его маленькие глаза.

Потом налетела проводница, и словно началась бомбёжка: все собирают постели, хватают вещи, выносят их в коридор поближе к дверям, точно собираются выбрасываться на ходу. А проводница, как пожарная машина на вызове, носится по коридору, забирает постели, сует билеты — кому нужно?! — и успевает объясниться со всеми сразу своим сиренистым голосом. Проспала малость теёка, теперь навёрстывает. Ну что, понять можно: маршрут длиннющий, станций — десятка два за ночь, а она одна за двоих тянет. Мы с Женькой повинемся ей, складываем постели, потом он тащит их в конец коридора в обмен на мой командировочный билет, а вещей у нас практически нет, так что выпрыгивать на ходу из вагона нам не с чем, и дальше мы спокойно ждём скрипа тормозов на нашей станции.

И вдруг Женька заявляет:

— Дядь Саш, вот было бы здорово, если бы вы были мужем моей сеструхи!

— Да ты что, Женька?!

---

— Не, я серьёзно. Юрка этот хороший, но такой — не подойдешь к нему просто так, не скажешь ничего. Шоколадку сунет, и всё — забыл. Вы лучше.

— Ты же меня не знаешь.

— Я вижу.

— Брось подхалимничать, не по-мужски это.

— Не, правда! Это я просто. Я понимаю, конечно, — он тяжело и длинно вздыхает. — Тогда бы мы с вами виделись часто, может, поехали бы ещё куда...

— Ладно, ладно... Так это ты потому всё утро такой спущенный?

— Да не, просто я...

— Боишься?

— Нет. Только подумал: а вдруг мамке уже сообщили оттуда, из лагеря?

— Вот то-то, брат. Надо стараться сначала думать, а потом делать. — Не хочется ему, борцу за справедливость, читать мораль, да так выходит.

Он смотрит и молчит.

Молчит, это хорошо, значит, думает...

Как бы ни полз наш поезд, как бы ни «кланялся» всяким «столбам» на дороге, ночи ему всё равно хватило доползти до места.

Двугорбая верблюжья спина моста через реку, потом набережной сточной канавы (недавно — большой, хорошей речки, собственно, давшей начало городу и им погубленной), и всё: заскрипели, заныли тормоза, приковали вагон к длинному перрону.

— Ну, кажется, приехали. Пошли...

Как здорово, что мы народ подъёмный: только дипломат да рюкзак. Но каждому своё. Нам негде мандарины брать, как тому, черноусому дядьке, у которого мешков и чемоданов намного больше, чем законных конечностей. Вот и пыхтит теперь, созидавая гору на перроне, потеет крупно и нервно.

Трамвайные пути на площади делят два потока: людской и автомобильный. Женька тащит меня через потоки и рельсы к остановке троллейбуса.

— Можно и на трамвае, — кричит он сквозь чадный рев безразмерного «Икаруса», — но тогда надо делать пересадку. Да и быстрее на троллейбусе!

И все-то ты знаешь, паразит!

— Куда мы едем?

— Увидите.

— Ага, увидел! Наш?

— Точно!

Подкатила «двойка». Ну, теперь ясно, хотя делаю вид, что нет.

Сколько ни возвращаешься в город, всегда смотришь на него через окно троллейбуса или такси так, словно видишь его после долгой разлуки. Даже, если не был всего пару дней. Смотришь придирчиво, сдаешь на пронизательность, точно ревнивый муж на веселую жену. И что-то ноет в душе. Домой же приехал, домой! Вот в этот огромный дом вернулся и так ли там всё, как оставил? Что изменилось? Что стало лучше, что хуже? И хотя ловишь себя на мысли: смешно за неделю ждать чего-то значительного, в душе ничего не меняется. Не отвязаться от чувств, не выбросить песни...

Троллейбус урчит в гору.

... И ругаешь, бывает, город, и клянешь, возмущаешься, но нет, не пропадает ощущение возвращения, живёт, сильно оно. А ругать — если честно — не город, людей надо. За растрату традиций, за обесцвечивание, окоробкование лица, за ретивое вытирание с карты исторических мест да за то, что по их вине поотстал город за последние три-четыре десятка лет от тех посёлков, что прежде и городами-то стыдно назвать было, а сейчас, гляди-ка, и метро у них, и категория. Не хватило настырности, любви к городу, только бы самому хорошо было да безопасно.

---

А городу просто не повезло с такими радетелями: владеть владели, а обожали не город — себя в нем. Туда бы вон тех людей, что бегут сейчас по тротуарам, — по праву, по назначению, по призванию.

Эти люди действительно любят город.

Так же, как и ты.

Как взбалмошную, ветреную женщину.

Как мечту, неиссякаемую годами.

Как... Как что ещё? Неважно, просто любишь, и всё. И ревнуешь: где-то там может быть лучше. И злишься: что же мешает, чтоб лучше было здесь!

За окнами троллейбуса знакомые дома, деревья, камни. И люди тоже знакомые, хотя наверняка из этих, что сейчас на улице, ты не знаешь никого. Но что с этого? Они же твои люди, ты узнаешь их везде, поймёшь, почувствуешь, потому что топчут они тот же асфальт, живут с тобой одними новостями, дышат тем же воздухом, решают те же проблемы. Они пропитаны городом, как и ты, а сам город состоит из них.

Второй маршрут длинный. Меняются остановки, входят и выходят пассажиры, а Женька не выказывает беспокойства прибытия. Сидит и хладнокровно смотрит в окно. Земляк! Тоже не был давно в городе. У него оказались двадцать копеек, и он купил талоны: себе и мне. Так сказать, любезность за любезность, и чувство достоинства восстановлено. Но это надо быть мужчиной, чтобы не есть целый день и оставить двадцать копеек на обратную дорогу! Нравится мне этот пацан всё больше. Или всегда нравился? Уже — всегда?! Ой ли! Но такое чувство есть, и ничего тут не поделаешь...

Пошли Линии, а Женька все не думает покидать насиженного места. Уснул, что ли?

— Жень?

— Чё?

— Мы не проехали?

— Не. Уже скоро...

Но дотянул, мерзавец, до конечной!

Я начинаю кое-что понимать, нет — догадываться. Сердце потихоньку наполняется подозрением. Нет, я, конечно, сильно сомневался, но... Да, вот это самое «но»! Оно заставляет думать! Вот сейчас поворот направо... Так, повернули... Старый дощатый забор, такой же некрашенный, как... Один квартал и, если повернёшь налево?!. Повернул! Ещё двадцать шагов и ...

— Жень, я дальше не пойду...

— Да пришли уже!

— Я знаю. — Пронизанный удивлённой зеленью взгляд. — Я не пойду.

— Ну, дядя Саша?

— Нет, дальше ты один. Поверь не могу я. И пойми.

Он не понимает. Но что объяснишь пацану?

— Дядя Саша... — глаза его блестят изумрудами. Я смотрю на них и уже не сомневаюсь.

— Извини, я поломал твои планы, но будь другом, а?

— А где вы живете?

Я назвал адрес.

— Далеко...

— Знаешь я запишу тебе телефон. Позвонишь и всё расскажешь. Годится? — Уже прошу.

— Годится,.. — но это не голос, это тихий печальный стон.

— И попроси от моего имени, чтоб не ругали здорово. Мол, дядя Саша сказал... — и неожиданно для самого себя добавляю:

— Новицкий...

— Хорошо, — он пытается улыбнуться.

— Ну, иди,.. — ладошка у него сухая, жесткая.

Женька пересекает длинный двор, а я смотрю на него через воротные щели, и что-то горячее теснится в груди. Ноет душа, стонет весь этот неизменчивый мир вокруг. А ведь тогда ему

---

было всего четыре года. Да, точно — четыре. Но всё равно стрельнул он в меня первым же взглядом...

Пора уходить. Вот он уже прошёл двор, стоит у двери, видимо, звонит. Кто-то открыл, разговаривают. Пора! Но отчего же, немеют ноги, неужели так крут подъём?

Быстрее!..

И вдруг:

— Саша!

Нет, не оглянуться, не услышать! Наверное, я согнулся, устал...

— Саша, подожди!

И мир пронёсся, как в ветровом стекле на крутом вираже! Вот они, те же изумруды в глазах, только влажные, полные света! Тот же вздёрнутый нос, только пухлый и женственный...

— Саша...

И сразу же руки родные, тёплая, мягкая нежность щеки и запах волос: знакомый-знакомый, пьянящий и сладкий, словно не было лет между нами, и падает так же весна на плечи, на лица, на волосы, на город, мигом притихший...

И руки сами легли на талию, потянулись, замерли...

Стоим.

Задыхаемся...

Прошла какая-то бабка, оглянулась, пустила укоризну глазами.

Стоим и молчим.

Два парня с той стороны улицы швырнули что-то ехидное в нас и, проржав, удалились.

Стоим и ныряем всё глубже и глубже...

Проехал таксист, просигналил...

Да видели мы все эти обрамления!.. Всё внутри, только внутри...

Наконец, дыханье вернулось к словам.

— Ты искал меня, Саша?

— Случайно... Женьку встретил...

— Жаль...

Я чувствую, мне тоже жаль.

— Как же так, Саша? Как всё тогда получилось?

— Не знаю... — Я думал об этом много, но только топтался на месте.

— Мы же любили друг друга, скажи, ведь любили, да?

— Да...

Любили! Разве подходит к нам это слово? От слов ли идёт голова кругом, от мыслей? Любили? Мы жили друг другом! И были уверены: всегда будем вместе.

— Я очень любил тебя. Очень! Ты это знаешь. А сейчас ничего не пойму... До сих пор нет покоя...

— Так почему мы расстались, скажи, может, ты растолкуешь мне, Саша?

— Не знаю, Ира, не знаю. Не представляю даже, как все получилось. Думаю, думаю и — ничего, пусто.

— Я тоже не знаю, Саша. Словно кто вмешался. Точно нас отравили. Разняли, растащили. Но не было же этого ничего, скажи, не было?

— Нет.

— Но почему же тогда?! Чья это шутка? Чья жестокость?

Ну что можно сказать ещё, кроме опять: «не знаю». Да мыслимо ли знать это? Когда судьба вдруг делает страшный поворот и жизнь несёт, несёт...

Звонит зной над улицей, стекая к реке. Шевелятся пыльные акации над нашими головами, сухо, печально, без радости, без запаха. Но ты не изменилась, Ирка, нет! Ты та же, всё та же, хотя из девчонки превратилась в женщину, я узнаю тебя! Боже, зачем эта встреча?!

— Ну как ты живёшь без меня?

— Плохо, наверное...

— Не женился?



---

— Не пришлось. — Во рту почему-то сухо и голос охрип.

— А ты?

— Дочке восемь лет.

— Восемь?!

— Нет, не твоя. Не получилось у нас... А замуж я вышла в тот же год. Может, сдуру, может, с обиды. Ненавистным стал этот город любимый. Хотелось уехать, умчаться хоть куда-то. Ну, подвернулся тут парень знакомый, училище связи кончал. Получил направление, поехать с собой предложил. Я и решилась, что делать, коль город не мил?

— И как-то ты с ним?

— Да, в общем, нормально. — А глаза, как прозрачную шторкой, закрыты зелёной слезой. — Он муж оказался хороший, мечта он для бабы любой. К тому же и любит меня.

— А ты?

— Саша!..

— Прости...

— Надо всё позабыть, чтобы снова любить. Всё-всё! Да как это сделать? Забыть ночи, и дни, забыть свои чувства, мечты и запахи, звуки и сырость, тепло и город, и реку! И с этим забыть одного человека? Как, Саша, как?

Я молчу.

Её голос дрожит.

— Пойдём сейчас к нам, прошу, пойдём. Мама будет рада, увидишь!

— Она помнит меня?

— Ещё бы! Тебя ведь когда-то зятем звала. Идём.

— Прости, не смогу я.

— В이니шь себя?

— Виню...

— Не надо. Ты же ни в чём не виноват.

— Всё равно. Раз так получилось...

— Ну, может...

— Не нужно, Ириша. Не нужно тревожить зажившее чудом.

— А ты бы меня позвал?

Опять молчу.

— Тогда я тебя провожу. Пройдёмся немного, как... как прежде. Я мигом, только переоденусь чуть-чуть.

— А муж твой? Ему-то всё это зачем?

— Ничего, он поймёт, образцовый!

— А нам?

— А нам это нужно и очень, пойми. Вернуть хоть на час, на минуту, но что-то, хоть что-то вернуть! Я быстро, ты лишь подожди.

Такой же осталась девчонкой упрямой, такой...

Она бежит вниз по улице, а я смотрю на неё и всё больше узнаю. Точно так же она бегала когда-то, если нужно было заскочить домой на минутку. И ждал я её здесь же. Все та же походка, разворот плеч. Она никогда не ходила, как большинство женщин, она не шла, не плыла, не суетилась, а именно вышагивала, не-много чинно, но величественно, высоко поднимая и твёрдо ставя ногу. Всё это было совершенно естественно — по-другому она не умела. Так ходят редкие женщины. Я называл её походку королевской, а она смеялась: откуда, мол, я могу знать, как ходят королевы, если никогда их не видел живыми? А вдруг артистки в кино халтурят? А мне было все равно: ходят так королевы или нет, я считал, что у моей Ирки походка королевская, и был уверен в этом. Боже, она на самом деле ничуть не изменилась!

А тоска ползёт по плечам и давит, давит душу.

И опять я жду её на нашем месте. На каменном тротуаре между металлическими зелёными прутьями забора и большой старой акацией. И рядом железная дверь в ограде, — из-под облупившейся краски проступила рыжая ржавчина.

Какой дух стоял здесь в начале июня, когда цвела эта акация! Море запаха, нежного, чистого! Я купался в его благоухании

и мог ждать сколько угодно. А тёплый ветер с реки? Ночные, приглушённые звуки города, и звонкий стук трамвая на соседней улице? И фильм «Пусть говорят» с Рафаэлем в летнем кинотеатре парка, — мы смотрели его восемь раз и всё время, как впервые. А длинные зимние ночи, и здесь, на этом тротуаре, ледяная дорожка почти до её калитки? А?.. Всё мешается, теснится в голове...

И вот теперь! Мука! Пресс! Да это неправда, такого же не может быть! Да и вообще, было ли что? Не приснилось ли, не привиделось? Не вычитал ли где, — когда-то давно, а теперь прижилось в душе, прикипелось за своё? Ведь реально только настоящее! Но почему же тогда так радостно и тревожно стучит сердце, почему даже эта кривая акация тянет к себе, кажется родной и близкой, даже камни вокруг дерева схвачены сладкой памятью, — это наше место с неровной мостовой и тем же зазубренным бордюром? Все узнается само, лезет в глаза, кричит: ты помнишь меня? Значит, было, если есть! И моя любовь есть, та, первая, и пока не повторённая...

Моя?.. Да, моя любовь, девушка! Но где же, она? Убежала? Нет её! Есть женщина, мать не моего ребенка, есть... Она ушла, чтобы попытаться вернуться ко мне через все препятствия... Но нет той девушки...

А я? Чего же я хочу? Стараюсь сделать тоже самое? Но никто же ни в чём не виноват! А они — тем более!

В доме напротив распахнулось окно, и вырвался, выплеснулся на улицу голос Саши Серова:

*«Окончилось наше лето, над миром стонет дождь.*

*Кричат цветы и птицы: ты больше не придёшь!..»*

Он поёт и выворачивает душу наизнанку.

Я быстро поискал глазами вокруг. И вот он, — мне повезло, — я увидел маленький кусочек мела или гипса, или просто какой-то белый камешек. Подобрал его и, как в прежние дни, когда нужно было что-то сообщить ей или подать знак, написал,

---

царапая краску, на железной двери одно-единственное слово:  
«Прости...»

Как раз напротив нашей акации.

И торопливо шагнул вверх по улице.

Песня держит меня за плечи и подгоняет. Болит душа, я чувствую её руки, её щеку, вдыхаю запах волос, а перед глазами всё стоят изумруды света в шторках слез. Но я иду.

Я не могу иначе...

\*\*\*

Как тяжело. Ну, просто невыносимо...

Солнечный луч всюду гуляет по комнате, я смотрю на него и ничего не пони-маю. Да и что можно понять так сразу? Нужно ещё прийти в себя. Очнуться. Я смотрю на маленькую тучку пылинок в световом столбе и чувствую себя так, словно только что перенёс необоснованную и неоправданную жестокость, от которой мне долго пришлось плакать. И снова, не сознавая, повторяю запавший в душу вопрос:

— Ну, надо же?!

Рядом храпит сосед-курортник. У него не было жилья в этом городе, и кто-то воткнул его в гостиницу, подселил ко мне, он загулял сразу, пришёл в номер под утро и сильно «на мази». Теперь храпит, отдыхает и сны у него, наверное, самые праведные. Ничего не поделаешь, номер двухместный, а койка в этом городе летом на вес золота. Но познакомиться с ним мы так и не успели.

Ну, хватит, теперь быстро одеваться, умываться и — в буфет: что-нибудь пожевать да бежать на завод, отметить командировку и — на вокзал. Домой! Будя, поели общепитовских харчей, поспали на жестких удобствах коммунального хозяйства. Р-раз-два, встали...

И вот сижу на мраморном подоконнике вокзала и скучно смотрю перед собой. Конфетные бумажки, обрывки газет дружно

вальсируют по перрону в обнимку с пылью, кидаясь под ноги редким пассажирам, которые никуда не спешат.

Поезда здесь останавливаются редко, но — слава Богу! — хоть в кассе билеты есть, не нужно стоять в очереди и ждать, ждать...

Народ не спеша двигается по перрону по-над голыми, блестящими полосками рельс, покачивая одинаковыми пушистыми или стеклярусными шляпами, купленными у торговки на пляже, а я сижу и мрачно размышляю. Почему мрачно? Есть причины. Не выходит вот из головы...

Как оконная рама в бурю, звонко стукнул репродуктор на вокзальном фронтоне, заорал нестерпимо громким женским радиоголосом: «На первый путь прибывает...» Нет, не мой. До моего еще целых два часа. Но ничего, мы народ крепкий, командировочный, нам не привыкать...

Через пару минут на станцию вползла зеленая гусеница. Захлопали тамбурные двери, люди — туда-сюда, все вокруг дико заторопились, суета с маетой, да и только.

О, это уже шум посерьёзнее. Что такое? Кажется, мальчишку с поезда ссадили: проводница орёт, мальчишка ревёт, милиционер победно несёт свое пузо под чёрной, лохматой головой, тащит пацана за руку через жидкую толпу.

Что же с ним такое? Убежал откуда, что ли? Пацану лет двенадцать-тринадцать, на нём мятая-мятая пионерская форма без галстука, за спиной рюкзак явно лагерного назначения, на белобрисом чубе возвышается голубая пилотка с бубоном.

— Ишь, ты! Зайцем хотел и без родителей! Я его сразу заприметила! — на весь перрон продолжает проявлять бдительность тощая проводница.

Я смотрю и молчу.

А что мне делать?

*п. Агой.*

## БУДТО ПРЕРВАННАЯ ПЕСНЯ ДУШИ

*Маленькая повесть*

*Посвящается всем моим сослуживцам по УЦБПА  
г Астрахань 1967-1969 гг., особенно — лётчикам,  
техникам и механикам нашей славной второй эска-  
дрильи подполковника Иовлева.*

*«... У каждого из нас на свете есть места,  
Что нам за далью лет всё ближе, всё дороже.  
Там дышится легко, там мира чистота  
Нас делает на миг счастливей и моложе...»*

*Игорь Тальков*

1

Возможно, на свете много таких чудачков, которые бы хотели бросить все дела и помчаться на встречу с юностью или с чем-то другим, дорогим сердцу, даже если минуло уже целых полвека и на такое свидание наивно надеяться. Да бывает подобное в жизни, и что-то же вызывает в нас эти желания? Ностальгия? Скрытое стремление поспорить со временем, победить невозможное? Или пустая надежда вернуть былое, прожить его заново? Или ещё что-то? Как знать?..

Наверное, хотело бы так поступить немало людей, но редко кто идёт навстречу этим порывам души, бросает всё отчаянно и дерзко, — чаще руководствуется здравым смыслом. Отказывается от своих желаний по разным уважительным и не очень — причинам. И тогда мечта навсегда остаётся лишь мечтой. Но, как говорится, всё же «чудаки такие случаются», — они бросают все свои дела и едут, едут навстречу щекочущим надеждам в предвкушении ощущения выполненной миссии, реализации

этой самой давней мечты. Пытаются люди иногда обмануть самих себя...

К таким «чужакам», наверняка, можно отнести и меня. Долго мечтал «в тайне от себя», и вот решился, поехал. Через пятьдесят четыре года после того, как покинул эти места... Места мало приветливые, не слишком подходящие для обитания. На первый взгляд...

Но места эти были частичкой моей юности, которая проходила в замечательном городе Астрахань, вернее, на военной авиабазе под Астраханью, куда я был направлен для прохождения дальнейшей службы после окончания школы младших авиационных специалистов (ШМАСа). Впервые ступил я на астраханскую землю 13 октября 1967 года — запомнил дату, вероятно, потому, что, едва зашёл с двумя своими попутчиками в кубрик теперь моей — второй эскадрильи, как висящий на стене красный репродуктор, словно дождавшись нашего прибытия, объявил приказ министра обороны маршала А.А. Гречко о сокращении срока службы с трёх до двух лет.

Кубрик, так почему-то на морской лад называли помещение на три десятка солдат, где бытовала наша эскадрилья, находился на третьем этаже большой кирпичной четырёхэтажной казармы в самом центре военного городка-базы, сразу же наполнился восторженными воплями. Выходило, что моя служба здесь начиналась с радостного события. Это же надо: слу-жить на целый год меньше? И год уже отслужил. Всего-то осталось... Но радость — это кому как! Не все солдаты эскадрильи кричали «Ура!» по поводу и веселились, — были и другие, — каждый воспринял эту новость по-своему. Особенно запомнилось мне, как один сержант, который уже собрался на дембель, в сердцах плюнул и сказал:

— Ну что за год рождения у меня такой — сорок пятый! Всё нам не везёт! В школе закончили одиннадцать классов — и «на тебе», — больше не надо, вернули десятилетку. Теперь

вот сюрприз: отбарабанив полные три года, слышишь такую подлянку: теперь всем — два года! Опять сорок шестому везёт, поедет следом за нами...

Мой, сорок седьмой год, молчал, ему ещё не положено домой собираться. Да потом так и вышло — сорок шестой ещё дослуживал до трёх лет, и только нам, сорок седьмому, выпало по два с половиной года, так что скостили нам всего-то полгода, но это было тоже кое-что. И только сорок восьмой год уже по праву стал полным двухлеткой.

Забегая вперед скажу одну удивительную, на мой взгляд, вещь: с нетерпением ожидая демобилизацию и страстно, как и все срочники, желая побыстрее попасть домой, приехав и по-бродив с месяц по «пустынному» Лендворцу в Ростове, из которого куда-то исчезли все мои доармейские друзья и подруги (кто-то отправился, как и я, в армию, кто-то вышел замуж или женился, а кто-то просто исчез в неизвестном направлении), я вдруг страстно и нестерпимо захотел вернуться в свою часть, к своим друзьям, ну, хотя бы сверхсрочником, ну, хотя бы ещё на год, и только понимание того, что тех ребят, с которыми я служил, уже тоже нет в полку, что там теперь новые, незнакомые мне люди, а так же воспоминание о тех печальных лицах парней, всё же оформивших контракты «сверхсрочников», не позволяли мне сделать решительный шаг. Но «прирос» я, видимо, к армейской жизни, авиации накрепко. Постепенно тоска ушла, — я обзаводился новыми привычками и стремлениями.

«Да, уже пятьдесят пять лет прошло с того дня, — думал я, глядя в окно вагона на синеющую каким-то металлическим отливом, бескрайнюю, плоскую, как стол, степь. — Наверняка, две трети населения нынешней Астрахани в те годы ещё не родилось, а многих, живших тогда, уже нет. Вот и поспорь со временем...»

2

«Астрахань» для меня началась, как только проехали город



Волжский, потому что очень скоро за мутноватым окном вагона открылась та самая, знаменитая астраханская степь, как говорят, бывшее дно Каспийского моря.

Странно, но унылое однообразие степи не нагоняло на меня скуки, не вызывало потерю бодрости духа и хорошего настроения, и, как оказалось, если внимательно к ней присмотреться, то не такой уж унылой и однообразной эта степь выглядела, но уникальной — это точно... И то, что мысли она навевала ностальгически приятные, — это тоже так...

В октябре месяце закончилась наша учёба в Могилёв-Подольской школе младших авиационных специалистов, и нас начали распределять по боевым частям для прохождения дальнейшей службы. Парни, с которыми я провёл под одной крышей школы одиннадцать месяцев, и увидеться с которыми когда-нибудь ещё раз не было никаких шансов, постепенно разъезжались, и казарма наша пустела, как бы увеличиваясь в размерах, и каждый звук теперь гулко раздавался в зреющей пустоте большого помещения, подчёркивал эту самую пустоту. И когда командир нашей второй учебной роты майор Гладков предложил мне самому выбрать место службы: Липецк или Астрахань, я подумал: «Липецк я знаю где, — это между Ростовом и Москвой, но не представляю его себе», — и, вспомнив курские зимы пятидесятых годов, ещё подумал: «Зимой там, наверное, железный колотун и снега по пояс. А я, как южный человек, зиму не люблю, потому мне Липецк явно не подходит. А вот Астрахань? Астрахань это где-то на широте Ростова, значит, тоже юг, кроме того, там есть Волга, значит всё похоже на Ростов, да и заскочить домой по пути, наверное, удастся...» И я выбрал Астрахань.

Во всех моих рассуждениях совпало лишь то, что мне, с двумя моими попутчиками, всё же удалось заскочить ко мне домой ровно на пять часов между киевским и волгоградским поездами, в остальном же мои выводы оказались весьма да-

лёкими от истины. И южная астраханская природа была мало похожа на южную ростовскую, она была намного жёстче даже «северной» липецкой, — давила не холодом, давила летом изнуряющей жарой, а зимой — дикой стужей, и всё из-за почти непрерывного сильного, точно из мощного вентилятора, ветра, — зимой ледяного, весной наполненного песочной пудрой, которая, подсыхая, проникала во все отверстия человеческого тела, и так, что человек постепенно переставал её сплёвывать, а летом — горячего, словно из калорифера. Ветер постоянно кружил по обширной прикаспийской яме, образовавшейся из-за снижения уровня Каспийского моря в то время на двадцать семь, как говорили, метров, часто менял направление, не теряя силы, на прямо противоположное.

Степь зеленела в апреле-мае чахлой травой и к июню уже под горячим ветром зелень быстро становилась чёрной — степь выгорала без пожаров, оставаясь такой до следующей весны.

И только в октябре, ветер уходил куда-то отдыхать, видимо, набираться сил на зиму, вместе с ним исчезала и жара, прихватив с собой ещё один местный бич — полчища комаров, с которыми нам приходилось вести непримиримую войну. Порой, бывали такие особые июльские ночи, когда жара и полчища злодеев действовали в особо тесном и слаженном сотрудничестве: жара не позволяла нам укрыться простынями с головой, комары же — не давали возможности раскрыться, а всякие аптечные мази и жидкости плохо помогали, тогда мы перекочёвывали с постелью в душ, в котором никогда не было горячей воды (солдату положена горячая баня, а не горячий душ), и там мочили всё: простыни, ватную подушку, байковое одеяло, самого себя — это давало возможность укрыться на койке с головой и проспаться часов до пяти утра — к этому часу постель успевала высохнуть. Наверное, это придумал какой-то солдатский гений! Тогда я не понимал, почему в Ростове комары появляются по погоде: перед дождём, при падении атмосферного давления, а здесь — они были всегда до глубокой осени и ничего их не смущало.

И тогда мы всё своё свободное время проводили на стадионе нашего военного городка, но не ради футбола, а ради того, чтобы понежиться на тёплом, уже не пекущем, солнышке и кожей ощутить тихое безветрие.

И вот астраханская степь вновь открылась передо мной: ровная, гладкая и бескрайняя, какого-то маслянисто-илистого, чёрного цвета, что говорило об отсутствии на ней песка. Но это была ещё не та степь, на которой расположилась наша авиабаза, — глиняно-песчаная, полупустынная бугристая степь была ещё впереди.

Удивительным образом степь просматривалась вдаль. Не знаю почему, но любая точка на её поверхности, изображавшая человека, овцу, трактор или какую-то постройку в степи просматривалась так чётко и далеко, будто смотришь на неё сквозь телескоп или хотя бы мощный бинокль, который не увеличивал изображение, а только придавал ему чёткость, приносил ощущение реальности. Изредка, из бегущей навстречу дали выступали какие-то постройки — чаще всего низкие кашары рядом с человеческим жильём, бродили отары овец, и даже попадались какие-то возделываемые участки под помидорами, какой-то непонятной густой зеленью и бахчами. Светлыми парными нитками в разных направлениях чертили степь, видимо, «самопроложенные» автомобильные дороги. А рядом с железкой долгое время бежало неширокое, довольно старое асфальтированное полотно, пока куда-то не исчезло.

Изредка встречались небольшие города и посёлки. Один из них — Капустин Яр — я знал и встретил его, как первого старого знакомого. В дни моей службы тут был полигон, куда пятая эскадрилья нашего полка, который тогда горделиво носил название «Учебный центр боевого применения авиации Варшавского Договора», запускала беспилотные авиамишени, которые запросто могли бы потащить и тысячекилограммовую бомбу, но использовались лишь в других целях, и лётчики, как

наши, советские, так и «демократы» из Варшавского Договора, проводили по ним учебные стрельбы. Иногда, говорили, что там стреляли по мишеням и наземные ракетчики. Откуда? Нам было неизвестно.

Но главными приметами того, что прошло уже более полувека и давно уже сменилось государство, была какая-то убогость и запущенность этих посёлков, станций и полустанков, мимо которых проходил или изредка ненадолго останавливался наш поезд, часто проступали следы откровенной разрухи, остатки чёрных пепелищ пожаров, и создавалось впечатление, что всё тут стало стране ненужным и потому было брошенным, а местные жители, по всему, просто и бессрочно выживали, не имея других вариантов бытия и надеясь лишь на самих себя. Короче, край был и раньше не слишком цветущим, трудным, полупустынным, а ныне и вовсе стал ненужным. Теперь тут правили другие ценности. И ничего в этом удивительного, — государству стали вдруг ненужными большие заводы или сельскохозяйственные гиганты, производящие для населения и страны всё и вся, так что говорить о необходимости стране этой малолюдной и бескрайней степи на севере Астраханской области, — своего рода «моста» для перехода из Калмыкии в Казахстан, — в общем-то, бессмысленно. Возможно, она сейчас, степь эта, используется только в военных целях, а может, там есть ещё что-то, чего я не заметил, а потому судить справедливо не могу. Но повторяю, что вид её не приносил мне уныния и потерю настроения, — всё было как раз наоборот, настроение было отличным, ожидания большими — степь не вызывала скуки, и чувствовал я себя так, словно ехал после долгой разлуки на встречу с когда-то любимой женщиной.

Когда поезд уже приближался к Астрахани, степь исчезла в черноте августовской ночи, и только совсем рядом — протяни руку — череда огней, за которой издалека виднелась золотая россыпь света, указывала на то, что мы подъезжаем к большому

---

городу. Но поезд шёл и шёл, а ровная линия огней всё так же висела в воздухе слева по ходу состава, казалось, на расстоянии протянутой руки, и это её застойное постоянство уже начинало вызывать нетерпение. Потом пошли какие-то протоки или речки, которые поезд перескакивал по гулким мостам, а линия огней неожиданно исчезла вместе с россыпью, теперь вызвав недоумение своим исчезновением, — казалось, она должна была вывести нас прямо к вокзалу, но нет... Наконец, вдоль полотна железной дороги пошли какие-то строения, и я понял: мы въехали в город Астрахань. Ещё минут десять, и состав закрипел тормозами.

### 3

Вокзал я узнал сразу, и это вызвало новый прилив хорошего настроения и бодрости духа. Здание вокзала было другим, видимо, заново отстроенным, но строители догадались оставить старый вокзальный купол в виде квадратной узбекской тубетейки чёрного цвета, который был похож на крышу караван-сарая, увидев его, я снова возрадовался, словно встретил хорошего старого знакомого. В мой первый приезд, вокзал показался нам тупиковым, ветка на Махачкалу проходила где-то рядом, но мимо и мы не знали, где... Тогда нам подумалось, что именно здесь и был «край света», в который, словно в невидимую стену или море, упирался блестящими полосками рельс, заканчиваясь, железнодорожный путь, и, выйдя из вагона, я тогда неожиданно подумал с унынием: «Ну вот, приехали на край Ойкумены...» Идентичность конечности пути и края света была полной.

Вновь забегая вперёд, хочу сказать, что через полтора года, я буду уезжать отсюда совсем с другими чувствами и мыслями, даже — с какой-то непонятной тоской расставания с этим городом и этой жестокой, колючей степью. Возможно, уже тогда во мне зародилось желание, когда-нибудь вернуться сюда и пережить всё заново. Это желание не исчезало во мне все эти годы,

и, наверное, почувствовав, что оно уже может и не исполниться вовсе, я, наконец, сорвался, бросил всё и поехал...

Поезд прибыл около десяти часов вечера, и первое на что я обратил внимание: конец августа, но, ни комаров, ни ветра не было. Может, потому, что это был город, в котором всегда не было ветра и комаров, — это же не та глухая полупустынная степь по-над Волгой, которую я помню? Или как?

Гостиница под громким названием «Апарт-отель» находилась в двух шагах от вокзала, номер на втором этаже, который я забронировал через Интернет, оказался вполне приличным: в нём было всё, что нужно путешественнику для отдыха и жизни, и даже две кровати для одного постояльца. Я уснул с чувством удовлетворения человека, сделавшего успешно первый шаг к своей цели, которую завтра мне придётся осуществлять уже конкретно: мой выход в город для второго знакомства с Астраханью...

Гостиница пристроилась на небольшой площади с рядами ларьков и продуктовых киосков рядом с железной дорогой, и утром, чтобы выйти в город, мне пришлось снова пройти сквозь здание вокзала. И тут передо мной открылась широченная, явно перепланированная и перестроенная, привокзальная площадь с остановками городского и междугороднего транспорта (на площади, казалось, сходились все автобусные маршруты города), магазинами во главе с большим двухэтажным «Магнитом», потоком машин, через который спешили куда-то пешеходы. Передо мной было то, что я никогда ещё не видел и не знал: площади этой, я думаю, полвека назад просто не было, иначе я бы её запомнил. Вместе с вокзалом, знакомый квадратный купол которого, приветливо мне «улыбался», как старому приятелю, площадь была первым проявлением новой, неизвестной мне, современной Астрахани. На какие ориентиры я мог рассчитывать? Какие цели ставил я себе в этой поездке?

Цель была одна — увидеть и почувствовать город, в котором провёл почти два года своей юности, а главное, — узнать и

---

обязательно увидеть, если она ещё существовала, свою авиабазу: военный городок, где когда-то жил в казарменном кубрике эскадрильи и аэродром (пусть издали, ведь до его «гражданского «кармана-стоянки» с маленьким аэровокзалом, тогда ходили городские автобусы), и где я выполнял свой воинский долг. На всё и про всё у меня было три дня — обратный билет был у меня на руках.

Для начала нужно было найти главный ориентир: старинный Астраханский Кремль. Перешёл площадь, разузнал на остановке маршрутных такси, каким номером мне можно до Кремля добраться, сел в жёлтую «Газель» и поехал, — всё было просто.

Какая улица в Астрахани считается центральной, приезжему человеку понять трудно. Скоро широкая улица (Победы), ведущая от привокзальной площади в центр города, превратилась в хитросплетение узких улочек, явно старой застройки, потом маршрутное такси перебралось через небольшую речку или протоку и выскочило на какую-то широкую улицу, потом снова старые кварталы, и уже вдоль Кремля со стороны Волги, улица вновь приобрела величие проспекта (Адмиралтейская).

Кремль оказался не так уж далеко, и я выскочил из маршрутки на остановке у одной из башен крепостной стены, постепенно начиная узнавать свой главный ориентир, который по-может мне найти и другие приметы той, старой, но теперь мало знакомой мне Астрахани.

Тогда на южной стене Кремля висел большой план Астраханской крепости (кремля) времён её основания (1558 г.), на котором со стороны нынешней площади Ленина чётко было нарисовано плещущееся у самой стены крепости Каспийское море, и даже лодки у причала были художником показаны, а две другие стены омывали волжские рукава. И сейчас вода от Кремля находилась довольно близко, но это была Волга и её протоки, но не море. Как говорили тогда, за четыреста лет море ушло от крепости на 90 километров.

Надо сказать, во время службы мне часто приходилось бывать в астраханском Кремле, где тогда находился гарнизонный Дом Офицеров. Наш военный городок был в семи километрах от единственного в то время автомобильного моста через Волгу, включая и проезд через правобережный посёлок «Трусово», который протянулся километра на три одинокой асфальтированной улицей среди некрашенных и почерневших от времени деревянных изб и домишек. Дорога эта огибала наш военный городок и заканчивалась у небольшого гражданского терминала нашего аэродрома — местный аэропорт Нариманово имел земляное покрытие, и потому тяжёлые аэрофлотовские самолёты и другие большие машины садились на нашу полосу и взлетали с неё..

Помню, не доезжая с километр до ворот нашей базы, на обочине стоял одинокий дорожный указатель с надписью на стреле направления «Элиста», и количество километров до неё где-то в районе трёхсот. Указатель был направлен влево, в глухую, «дикую» пустынную степь, и казался мне очень печальным, — отсюда начинался «бесконечный» глиняно-песчаный шлях в триста километров, нарезанный в почве полупустыни обыкновенным грейдером. Указатель как бы обещал путникам все превратности дороги через пустыню, особенно летом и зимой. И тогда казалось, что при сильной жаре и неухоженности «грейдера», мало кто решится на поездку по этому шляху — в случае поломки надежды на чью-то помощь были очень сомнительны. Трудно было представить, что на этой дороге до Элисты могли быть какие-то населённые людьми пункты. Возможно, мне это только казалось, — машин в ту сторону действительно ходило мало, но они были. «Теперь, — подумал я, — на месте этого указателя какая-нибудь городская улица, а дорога, наверняка, уже асфальтирована...»

В увольнение мы ходить не очень любили, хотя «сидение» в казарме тоже изрядно надоедало. Нас увольняли в город с 17



---

до 22 часов, в центр нас «подбрасывала» дежурная базовская машина, обратно нужно было добираться самостоятельно, а последний автобус из города к нам отправлялся в 19 часов. То есть на всё увольнение вместе с дорогой выпадало каких-то два часа. Туда добрался, и уже пора собираться обратно, — потому мои сослуживцы не очень-то желали ходить в увольнение. Если только нужно было купить что-нибудь в городе.

Зато патруль из нашей части уезжал на инструктаж коменданта города в 16 часов и возвращался патрульной машиной в 23-30. А в чём заключалось патрулирование спокойной Астрахани? В основном, в приятных прогулках по городу с разглядыванием прекрасных женских мордашек (в условиях почти полной нашей изоляции от женского общества, все девушки Астрахани казались нам прекрасными принцессами. Но и теперешняя моя поездка подтвердила, что не только тогда «казались» они нам красотками, но и сейчас в Астрахани, видимо, в силу многочисленных этнических перекрёстков, очень много красивых девушек и женщин). И обязательное посещение патрулём Дома офицеров, где по субботам и воскресеньям проводились танцы, — танцевать с повязками «Патруль» на рукаве и солдатскими воинскими званиями не полагалось, никаких шансов на знакомство с кем-то перед блестящими молодыми и денежными офицерами у нас не было, а вот наблюдать — это уже прямые обязанности патруля. И мы наблюдали и от наблюдения получали удовольствие.

В общем, наряд в патруле имел большие преимущества перед увольнением на отдых. Главное, «не пить пива», потому что комендант города подполковник Бакаев говорил нам на инструктажах патруля, что запах водки он ловит носом на расстоянии в пять шагов, а запах пива за двадцать пять. Так что, если выпил водки, близко не подходи, если пива — беги со всех ног прочь. Но лучше ни то, ни другое. Впрочем, за все мои походы в этот наряд по городу, никаких проблем в дежурстве патрулей не случалось...

Но что греха таить, — без выпивки иногда не обходилось. Понемногу, по чуть-чуть.

Однажды техник полковой «спарки» старлей Володя Синеглазов, в тот день — начальник наряда патруля, привёл нас, троих патрульных солдат, к себе на холостяцкую квартиру и показал кое-что. Он открыл дверцы встроенной в стену кладовки, и мы увидели полки, сплошь уставленные разнообразными бутылками с завинчивающимися пробками. Бутылки были наполнены какой-то прозрачной жидкостью.

— Благородный спиртус вина, — понимающе, но несколько хвастливо, сказал Володя. — Хотите тяпнуть?

В ответ мы только пожали плечами. Володя был всего на пять лет старше нас, и эта странная его хвастливость была нам понятна. Самолёты нашей эскадрильи «МиГ-21» были оборудованы пятилитровыми бачками, куда наливалась противообледенительная жидкость — чистый медицинский спирт, вполне пригодный для внутреннего употребления. И дальше была забота лётчика: сколько спирта израсходовать на лёд, сколько оставить «обществу». Затем наступала забота техника: сколько слить: и лётчику, и начальству, и себе. Иногда спирт перепадал и нам механикам...

— Когда-нибудь угощу. — сказал Синеглазов.

Он что-то взял в шкафу, и мы вышли на улицу, — а вдруг Бакаев встретится?!

4

...Мне пришлось обойти вокруг обширного пространства за стенами Кремля, хорошо, что вдоль южной (как мне кажется) стены протянулся тенистый бульвар, на котором там и сям прямо на газонах расположились горожане — воскресный день обещал быть жарким, потому астраханцы отдыхали на траве в тени деревьев.

Первое, что я увидел, подходя к входным воротам Кремля,

была высокая колокольня над входом, — она была той же самой, что и полвека назад, но тогда — простой, покрытой белой извёсткой, не вызывавшей у меня восхищения, возможно, из-за молодости моей и других интересов, теперь же эта колокольня выглядела нарядной и сверкающей, она приветливо волновала такого посетителя, как я, своей высотой и архитектурным стилем, отделкой.

Слева от входа красовался великолепный православный собор, тоже, видимо, возрожденный, в те годы, судя по всему, закрытый, а ныне действующий.

Кремль и тогда был довольно ухоженным, — весь беленький от извёстки, с покрытыми каменными плитами дорожками, он приятно веял стариной и видениями воинов в шлемах и с копьями на стенах, но то, что я увидел сейчас, ухоженным назвать уже нельзя было, что, честно говоря, меня сильно удивило. Кремль стал блестящим сооружением, и хотя стариной от него уже веяло гораздо меньше, теперь он явно стал визитной карточки города для туристов и приезжих гостей. Правду говоря, я такой его ухоженности совершенно не ожидал, и мне это нравилось.

Все старинные здания и сооружения Кремля были в отличном состоянии, в каждом находилось что-то историческое, каждое для чего-то было предназначено, — просторный двор сквозь зелень многочисленных деревьев и газонов пробивали ровные исправные проезды и дорожки, стояли скамьи для отдыха.

Всё это в коротком очерке подать невозможно, — чтобы подробно описать Астраханский Кремль, нужна более объёмная, гораздо более точная и профессиональная работа со знанием дела, за которую я не берусь. Да и есть, наверняка, такие описания специалистов — научные или популярные, но у меня иная цель...

Жаль только, что на посещение храмов и музеев Астраханского Кремля у меня просто не хватало времени. Я просто не учёл их по незнанию...

Побродив и посидев на лавочках часа четыре, выпив кофе с булочкой в маленьком кафе, и купив сувениры в расписной лавке у входа в Кремль, а через улицу в специализированном магазине — баночку чёрной икры — подарок маленькой внучке (на эту баночку мне в магазине выдали справку-разрешение на провоз), я вышел на остановку маршрутки и поехал в гостиницу отдыхать — больное колено уже настойчиво напоминало о себе...

План на следующий день был такой: с утра вернуться к Кремлю и, пользуясь им как ориентиром, поискать в центре города визуально или с помощью зрительной памяти, или узнать как-то здания, улицы или скверы, по которым когда-то пришлось ходить (в частности, найти кинотеатр «Октябрь» с огромными финиковыми пальмами в кадках высотой до потолка застеклённого трёхэтажного вестибюля, и книжный магазин почти рядом с ним, в котором я когда-то купил голубую полиэтиленовую пластинку в бумажном конверте с четырьмя песням практически никому неизвестной тогда в Союзе семнадцатилетней девчонки (что не помешало изданию в СССР её персональной пластинки), — она уже тогда была настолько великой, что сумела в столь юном возрасте перебраться через всю Европу в магазины звукозаписи на её восточной окраине. Что-то подвинуло меня на эту покупку, возможно, портрет на обложке конверта, возможно, молодость певицы: купил и, в первый раз прослушав «Прощай ночь», «Парижские мосты», и ещё две песни, больше уже никогда не изменял ей — звали девчонку Мирей Матье.

Для меня было очень важно найти и эти приметы ушедшего времени. Но пятьдесят лет — это очень большой его отрезок, который многое безвозвратно меняет...

А после «обеда» я намеревался отправиться на поиски следов своей воинской части или аэродрома, тем более, что я успел заметить совсем недалеко от вокзала новый для меня мост через Волгу, который, на мой взгляд, должен был сократить путь до цели.

Но утром сначала на остановку подошла маршрутка, которая

---

по моим соображениям шла не в центр, а в Трусово — в конце её маршрута «Вокзал — улица Аэродромная» должен был когда-то находиться наш городок. Спрашивать я не решался? Военный объект всё же, ещё припаяют в это беспокойное время украинского или американского шпиона, и будешь доказывать потом, что ты не верблюд. Я просто сел и поехал. Пересекли Волгу по «новому» мосту и скатились в пригород Астрахани Трусово. Но Трусово теперь было совсем не то Трусово, что было тогда, а может быть, сейчас оно и вовсе не Трусово, и называлось как-то по другому. Это была новая застройка с множеством улиц, целый город, — маршрутка так петляла по ним, так кружила, что, после того, как исчезла из поля зрения Волга, понять направление нашего движения было очень трудно...

Прибыли, наконец, на конечную остановку. Это была небольшая станция для маршруток, ничего похожего на прежнее Трусово я по дороге не заметил, да и тут, на конечной, никаких признаков близости аэродрома ни на земле, ни в воздухе не замечалось. Почему эта конечная остановка называлась «улица Аэродромная», я так и не понял.

Посидел на одной из скамеек конечной остановки, посмотрел по сторонам, на небо — вдруг самолёт пролетит, подумал, и, разочарованный, той же маршруткой двинулся обратно. Моя первая попытка отыскать прошлое не удалась. Где-то что-то перекусил и вновь поехал к Кремлю.

Астрахань пятидесяти лет назад запомнилась мне серой, невыразительной, почти сплошь деревянной, утыканной строениями хрущёвской архитектуры, да несколькими девятиэтажками. Помню, меня удивило наличие огородов в частных дворах с чернозёмом и посадками картошки — ведь эти огороды были на самом краю глиняно-песчаной пустыни, где кроме колочек, поливных овощей и неполивных арбузов ничего не росло. А может, почвы левого и правого берегов Волги сильно отличались по своему составу, и Астрахань не зря расположилась именно

на левом берегу. Умели ведь наши предки выбирать места для поселений.

Теперь же Астрахань стала живописной, и даже старые кварталы делали её привлекательной. Она превратилась в большой современный город со всеми вытекающими из этого достоинствами и недостатками.

Снова за ориентир взял Кремль, вернее — его входные ворота, и направился по упиравшейся в них Екатерининской улице от Кремля, как мне казалось, в сторону центра, затем через Александровский сквер по улице Ахматовской — в направлении, как мне тоже казалось, небольшой площади с кинотеатром «Октябрь», в вестибюле которого когда-то раскинули свои широкие ветви огромные финиковые пальмы, и книжного магазина, благодаря которому я познакомился с французской певицей Мирей Матье.

Все мои перемещения по городу напоминали движение подводной лодки по неизвестному фарватеру — методом проб и предположений, догадок и вычислений.

Я повернул налево, а надо было, как потом, оказалось, повернуть направо. Долго шёл по улицам наугад, но площадь с кинотеатром всё не показывалась, зато довольно скоро я набрёл на областную научную библиотеку, — отличное современное двухэтажное здание, в котором располагалось астраханское отделение Союза писателей России. Набрёл, наверное, не случайно. Дорога словно сама привела меня к нему. Возможно, чтобы лишний раз усмехнуться и показать мне, что более худшего отношения местных властей к писателям, чем в Ростовской области, в России не найти. Даже размещение отделений СП России в центральных государственных библиотеках, которое освобождало писателей от уплаты аренды и драконовских коммунальных услуг, давало огромный результат государственной поддержки. Такая поддержка путём освобождения от коммунального гнёта была в писательских отделениях регионов, где

---

мне удалось побывать: Пскова, Смоленска, Курска, Липецка, Ульяновска, Астрахани, Махачкалы, Краснодара — везде чувствовалось влияние и поддержка властей, но только не в Ростове, где ощущалось и ощущается только их презрение к писательской гильдии, как сообществу бездельников, нахлебников, ненужных обществу социальных элементов. Обидно всё же, но пока изменить что-то мы не в силах.

Не стал беспокоить астраханских коллег, сам осмотрел здание, сфотографировал и двинулся дальше. Через некоторое время вышел к памятнику Трусову и долго сидел подле него на бульварной скамье, впитывая в себя ритмы зелёного современного города и рассматривая памятник. Сидел, вспоминая и, наверное, всё так же ностальгируя...

## 5

Наш полк, который, как я уже говорил, назывался Учебным Центром Боевого Применения Авиации Варшавского Договора (теперь, когда самого Варшавского договора уже не существует, не существует и Советский Союз, я думаю, это название перестало быть военной тайной и перешло в разряд исторических, как и многое другое, о чём я пишу, да и пишу я обо всём в прошедшем времени: «был», «была», «было»...), входил в Бакинский округа ПВО и был оснащён очень хорошими истребителями «МиГ-21», которую считались самой удачной разработкой истребителя того времени в мире, и по многим своим характеристикам он до сих пор мало уступает современным моделям «МиГов» и «СУхих», да и американских перехватчиков — тоже, потому, видимо, и стоит он на вооружении ещё множества стран. В городе Новочеркасске, в Хотунке «МиГ-21» установлен в виде памятника этому самолёту. Но в отличие от базировавшего вместе с нами там же боевого полка СУ-11, который просто охранял небо Родины, неся боевое дежурство, мы считались специализированной лётной частью — учебным центром, в котором проходили

обязательные ежегодные стрельбы летчики стран, участниц Варшавского Договора. Потому все наши пилоты, обучавшие «демократов» из стран ВД, как их называли у нас, считались лётчиками-инструкторами, — среди них был только один, старший лейтенант Данилов, недавний выпускник лётного училища, который имел звание ниже майора. Остальные были либо майоры, либо подполковники, либо полковники.

Командовал тогда авиацией ПВО страны маршал Савицкий (отец будущей космонавтки Светланы Савицкой). Так вот, этот самый большой для нашего полка воинский начальник имел «нехорошую» привычку летать самостоятельно, только со штурманом, на личном самолете ЯК-25, появляться в небе над нашим аэродромом нежданно-негаданно, лишь сообщив на землю кратко:

— Встречайте, я «Дракон»

И тогда на аэродроме без объявления «начиналось что-то вроде «воздушной тревоги». Встречать «Дракона» должен был любой и каждый: от дежурных по Центру Управления Полётами до случайного механика или офицера, который оказался поблизости. Встречать, невзирая на своё звание, принадлежность к эскадрилье, воинскую специальность и так далее. Показать рулётку и стоянку приземлившемуся «Дракону», обеспечить его водилом и заглушками, поставить на колодки, подогнать заправщик и залить полные баки и, главное, доложить согласно Уставу, кто и как обеспечивал маршалу встречу.

Маршал был мужиком простым, то есть, настоящим лётчиком — другом солдату, он пожимал руку или даже приобнимал встречающего, с улыбкой выслушивал доклад — одетый в техническую форму без погон и знаков различия, здесь он мало походил на маршала, выделяясь среди солдат, тоже одетых почти в такое же техническое обмундирование, пожалуй, только возрастом, лётным шлемом в отличие от пилотов на головах солдат. Дальше уже появлялись командиры полков: и нашего, и «Сушек» со своими замами, и они уходили в здание ИПУ.



Маршал был непредсказуем, — он мог улететь и через час, и через сутки. Его самолёт исчезал в небе, и лишь тогда начальство полков облегчённо вздыхало: мужик хороший, но...

6

Надо сказать, что все мы, солдаты-механики нашего полка, были влюблены в авиацию: как никак — «голубая кровь» всей Советской армии, а лётчики наши были для нас истинно небожителями. Они были настоящими мастерами своего дела, — к нам в течение длинного весенне-осеннего сезона периодически прилетали стажироваться почти все истребительные полки советской авиации (что позволило мне увидеться с некоторыми из своих однокашников по школе младших авиационных специалистов). Но, конечно, мы очень гордились своими «летунами». Предметами особой гордости были «Дед» — командир полка полковник В. и его заместитель полковник К., который пришёл в авиацию сержантом ещё в Отечественную войну, и с тех пор всегда общался в эфире только матом, но летал отчаянно, мастерски и потому дослужился до полковника, и, конечно, наш «Батя» — командир второй эскадрильи подполковник И. который из-за своих габаритов не мог дотянуться до тумблеров на «бородке» самолёта (их ему включал перед вылетом его техник), но лётчиком был отменным. Был в нашей эскадрилье и такой лётчик, майор Ч., который страшно боялся летать, как он сам говорил, но летал также мастерски. Бывают такие парадоксы. Главное, уметь владеть собой...

Что для нас, молодых ребят, приобщённых к авиации, кроме полкового патриотизма, было показателем высокого мастерства пилотирования, ведь мы видели самолёт в воздухе лишь короткое время взлёта и посадки, а на разборы полётов нас не приглашали? Конечно, это сам взлёт и сама посадка. Например, наши лётные кумиры: «Дед», его зам и «Батя», взлетали с таким резким набором ускорения и такой крутой горкой, и даже без

форсажа, что казалось, самолёт не выдержит, рухнет, потеряв скорость. Но сверхнадёжный «Мигарь», натужно ревя, у них всегда вытягивал и уходил в просторы голубого астраханского неба. Чтобы так летать, нужно было очень тонко чувствовать и любить машину, понимать её усилия и стремление к успеху.

А как эффектно, по-боевому, но чуть парадно был взлёт двойкой когда лётчики строго выдерживали скорость и расстояние между самолётами, словно были связаны одним невидимым тросом. А тройкой, то есть — звеном? Такие взлёты были редкостью, но мы ловили моменты, когда на старт выруливали два или три самолёта разом, и не отрывали от них глаз, пока они не исчезали в бездонном небе.

И как закономерность, наши кумиры, приземляясь, никогда не пользовались тормозными парашютами, что говорило о точном расчёте при заходе на посадку и рулении. Мы ехидно улыбались, когда видели, как иногда «чужие» самолёты, с распушенными и наполненными тугим воздухом парашютами, выкатывались за пределы взлётно-посадочной полосы. Для их полка это уже было ЧП, а для нас — «фунт презрения». В то время самолёты не были закреплены за лётчиками — летать они могли на разных машинах, — самолёты закреплялись за техниками, которые были им и матерями, и няньками, и «докторами». А уж техники подбирали себе толковых механиков, которым могли доверять (совсем бестолковых очень скоро из эскадрильи убирали: переводили кого на кухню, кого в котельную, или ещё куда-то, где требовались руки, а не голова. Видимо, таким просто не доверяли авиационную технику). Вообще, в авиации многое строится на доверии и надёжности специалиста, независимо от его статуса. И уже лётчик «подбирал» себе техника, которому доверял. Потому что от техника и механика зависела его жизнь. Это не значит, что он не летал на других машинах, но так подбирался, складывался экипаж самолёта-истребителя: командир-лётчик, техник-инженер

---

и солдат или сержант-механик. Экипаж был больше похож на дружную семью, чем на военное подразделение.

Были ли мы патриотами своей Родины? Наверняка, да, хотя мы об этом не говорили, да и не думали. Тогда молодёжь не размахивала флагами, купленными государством, и не кричала под взмахи «Советский Союз — вперёд!». Никто нам не говорил о численности силы нашей армии мы сами были уверены, что наша армия никак не слабее американской, что позволяет нашей стране быть на равных со всеми в мире. Наш патриотизм был глубинным, естественно выросшим в нас. И начинался он изда-лека. Воспитанный коллективизмом (детским садом, школой, пионерией, комсомолом), он прежде всего выделял понимание общее понимание слова «наш», но не такое понимание, как сейчас, когда слово «наш» тут же противопоставляется понятию «не наш». Страну искусственно поделили на «наших» и на «не наших», и это стало основой современного патриотизма.

Лётчики нашей эскадрильи, конечно же, были лучшими в полку. А полк состоял из самых лучших лётчиков страны и даже мира. Что там корявые летуны-демократы, там ещё немцы куда не шло, а остальным до наших — как до Москвы пешком. И «МиГи» наши лучше всех, не то что тихоходы «девятнадцатые» и всякие «Яки» вместе с ними или неповоротливые «Сушки», — всё это не имело никакого сравнения с нашими двадцать первыми красавцами. И так во всём. И этому нас никто не учил, до такого патриотизма мы доходили сами, потому эскадрилья сама становилась семьёй — нашей семьёй.

Правда была книжка — пособие для политзанятий (я уже не помню, как она называлась, которую никто не читал из-за её вселенской глупости и несоответствия нашей службе. Ну, кто будет вникать в такие стоки: «Часовой Дюкин не ел, не пил, не курил, не спал, не разговаривал и даже не свистел, в результате чего задержал двух диверсантов...») Нам такая идеологическая накачка была не нужна.

Наш «Дед» летал на отличной, новой машине с бортовым

---

номером «73». Даже в воздухе, за километры от посадочной полосы, он каким-то образом отличался от других наших «МиГов». Заходил на дальний привод, и все понимали: садится комполка. Хотя бортового номера ещё не было видно. Не знаю, как это получалось, но такое понимание никогда нас не подводило.

И вот 22 марта лётное происшествие: разбился единственный в полку старший лейтенант Д. И надо же: «Дед» был в командировке, и лейтенант в тот день летал на его машине с бортовым номером «73». Лётное происшествие случилось поздно вечером, когда уже было совсем темно. Потом Государственная комиссия после долгого разбирательства установит лишь одно: самолёт под номером «73», перелетая излучину небольшой степной речки в районе Капьярского полигона при угле завывшения носа в 5-10 градусов зацепился фальшкилем за воду и в результате рассыпался по степи на 800 метров.

Завывшение носа говорило о том, что самолёт выходил из пике, но ему не хватило высоты. Как он попал в это пике и почему очутился так близко к воде, определить комиссия не смогла, как и многие другие вещи. Погиб молодой лётчик, которого в эскадрилье любили.

Помню, как Сашка Костромитин, механик «73-го» печально и одиноко стоял возле инструментального ящика на стоянке и вглядывался в хмурое ночное мартовское небо, хотя было уже ясно: не прилетит.

Выглядел он осиротевшим и несчастным.

Обломки самолёта вертолёты нашли только на следующий день. Степные калмыки вдели его падение и рассказывали, что самолёт горел. Но обгоревших обломков обнаружено не было, видимо, самолёт шёл на форсаже, который калмыки приняли за пожар.

Гибель старшего лейтенанта вызвала у многих солдат нашей эскадрильи шок. До этого мы знали, что в авиации иногда разбиваются даже хорошие машины с прекрасными лётчиками, но

совершенно не думали, что у нас может быть такое: всегда это было где-то там, не у нас, и зря нас на разводах информировали о лётных происшествиях, но вот теперь пришло оно и к нам. И это нужно было осознать...

7

А жаркой ночью 22 июля — через четыре месяца — лётное происшествие повторилось. Тогда у нас «отстреливались» лётчики из Болгарии.

От союзников по Варшавской коалиции на стрельбы прилетали только пилоты, — самолёты и технический персонал, как и служба обеспечения полётов были наши.

Советские же полки отстреливались на своих машинах разных типов и обслуживались собственным персоналом, и пользовались только базой. И всё было отлично налажено, все службы действовали как часы, и с начала марта по конец ноября через наш Центр проходило несколько партий «демократов» из разных стран и довольно много советских полков (конечно же мы не считали ни тех, ни других, и я привожу эти сведения очень приблизительно, надеясь, что они давно уже перестали быть секретными), и всегда учебные стрельбы проходили без лётных происшествий.

Но тогда лётчик-болгарин уже два раза летал на мишень, и оба раза не смог сбить её ракетой с тепловой головкой.

Говорили, что перед третьим вылетом (больше трёх вылетов не делали) он поклялся, что в этот раз он собьёт мишень, чего бы это ему не стоило. И сбил. Говорили, что на экране локатора три светящиеся точки сошлись воедино, потом рассыпались в разные стороны более мелкими брызгами. Это означало, что одновременно сошлись воедино мишень, тепловая ракета и самолёт...

У истребителя «МиГ-21» на приборной доске есть красная лампочка, которая подаёт сигнал «выхода из атаки». Наверное,

такие лампочки есть и у других истребителей, не знаю, не видел, но у наших они были.

Включение этой красной лампочки означало опасную близость к впереди находящемуся объекту, потому что самолёт двигался в два, а то и в три раза быстрее реактивной мишени (или другой цели), на тех скоростях не успеешь моргнуть, как произойдёт столкновение, поэтому лётчик должен был при загорании красной лампочки немедленно отворачивать в сторону во избежание этого самого столкновения. Но болгарин очень хотел победить мишень, он поклялся сбить её, и, наверное, не послушался красной лампочки и во время не отвернул, хотя ракету выпустил. Вот и получился тройной удар по самому себе, но клятву свою он выполнил.

Утром поисковые вертолёты передали невероятное: «Самолёт цел, он спланировал лежит, зарывшись носом в бархан. Мягкий песок, видимо, и спас его...» Всё было странным и непонятным, но подающим надежду. Самолёт цел, хотя радар явно показал взрыв. Да и с такой высоты спланировать? «МиГ-21» — неважный планер...

Когда вертолётчики, сев неподалёку, пришли к машине, оказалось, что никуда он носом не зарывался, передней его части по салазки катапульты на задней кромке кабины просто не было, и он только приткнулся к бархану.

Переднюю часть фюзеляжа, тоже удивительно целую, нашли километрах в двадцати от самолёта, — самолёт просто разломился на две части, — но лётчика в ней не было. Его нашли в песчаной степи только через двое суток вместе с неиспользованным парашютом, — пилот тоже был целым, только без половины головы, — это лишь подтверждало, что кабина самолёта вонзилась сзади под удлинённый хвост мишени.

Всё это было очень печально и довольно жутко. С суеверным страхом мы ждали следующего рокового дня — опять через четыре месяца — 22 ноября. Потом кто-то из ребят высчитал,

что 22 ноября приходится на воскресенье, и все облегчённо вздохнули... Это значило, то полётов в этот день не будет, но всё же...

Наверное, все, кто имеет отношение к авиации, люди суеверные. Но день 22 ноября прошёл спокойно...

К чему я это всё написал. А к тому, что никто никогда не может гарантировать полную безопасность эксплуатации авиационной техники. Ни мастерство лётчиков, ни отличное состояние самолётов. В нашем полку несколько лет не было лётных происшествий, не было их и в последующий год. А случились оба в один год, так что ни точные расчёты, ни теория вероятности в таких случаях ничего утверждать не могут...

## 8

То лето было летом войны Израиля с Египтом, в которой в течение первой недели египтяне потеряли почти все свои, в основном советского производства, самолёты.

Рождённая в СССР теория красивого выстраивания самолётов на бетонке стоянки равнением по носовым конусам бортовых радаров, была евреями посрамлена: их самолёты заходили на ряд красиво выстроенных египетских машин и, делая пару очередей из пушек, поджигали в этом самолётном строю одну-две машины, и далее уже всё происходило само собой: тонны горящего, растекающегося по бетонке, керосина, поджигали и все остальные самолёты на стоянке — спасти их уже не было никакой возможности.

Советское авиационное командование быстро сделало правильные выводы, и у нас на аэродроме в срочном порядке стали строить капониры.

Вокруг большого глиняно-песчаного холма нашей эскадрилье нарыли углубления, по краям полукругом сделали высокие насыпи, на которые натягивалась большая маскировочная сеть с лохмотьями фальшивой зелени, «пол» застелили сборным «американским» металлическим настилом. И — готово.

В такой капонир помещалось звено — ровно три самолёта, капониров сделали вокруг холма по числу таких звеньев в эскадрилье. Каждой — отдельно. В полку пять капониров. Они рядом, но не вместе. С воздуха под маскировочной сетью не заметны. На вершину холма поставили деревянную, грубо сколоченную вышку и большой вагончик с рацией, телефоном и шкафчиками для солдатской технической одежды, в которую мы переодевались во время работы на аэродроме, оставляя в них солдатскую форму.

Сначала всё эти сооружения и новые порядки были совершенно непривычными, но мы все понимали правильность и срочность принимаемых мер. Ведь армия должна быстро и гибко реагировать на все изменения в окружающем мире. Иначе она не будет выполнять свою роль в государстве...

Теперь этот холм с капонирами и вагончиком стал называться «Стоянкой подразделения» — эСПэ. Он стал играть заметную роль в жизни этого самого нашего подразделения — «вторая эскадрилья», словно новый, недавно выстроенный дом для жизни самолётов.

Рядом со стоянкой протекала небольшая степная речка, воды в которой было в летнюю пору «воробью по...». Речка, до тех пор, пока не установили столбы с колючей проволокой, служила естественной границей аэродрома.

По утрам нас привозили на стоянку к половине девятого утра, когда солнце высоко висело над степью и уже прилично грело, но ещё не жарило, и мы, поднимаясь по тропинке к вагончику, старались не наступить на греющихся на солнце змей разных видов и размеров, кото-рые недовольно шипя, расползались по сторонам, уступая нам тропинку. Это повторялось каждое утро.

Странно, но днём змеи куда-то исчезали, их не было видно нигде. Но бдительность от не-желательной встречи они нам



---

обеспечивали. И так продолжалось до тех пор, пока змеи не впадали в зимнюю спячку.

Удивительно, но с виду безжизненная степь была наполнена жизнью. Особенно много было разных насекомых. Невероятное количество видов и форм. К примеру, тогда казалось, нет ни одного квадратного сантиметра поверхности почвы, на которой бы не был обнаружен муравей. Полчища комаров вылетали на охоту с наступлением сумерек. Во время наших майских ночных полётов мимо шумными воздушными торпедами проносились медведки, — попадание такого «снаряда» в лоб или в щёку гарантировало хороший синяк. В общем, степь вокруг звучала и жила многообразно.

Но вторую после змей реальную опасность представляли собой ядовитые пауки. Скорпионы, фаланги, тарантулы. Но скорпионы хотя бы обитали только на аэродроме, днём прячась под чехлами самолётов, одеждой механиков, заползали в сапоги солдат, потому каждый раз переодеваясь и переобуваясь в техническое и обратно, нам приходилось перетряхивать одежду и обувь, причём это так вошло в привычку, что я уже дома ещё с полгода каждый раз машинально перетряхивал одежду перед тем как её надеть.

Фаланги же «не брезговали» заползать даже в казарму, даже на наш третий этаж. Представьте: просыпаешься, а у тебя на подушке сидит фаланга, которая, как рассказывали «знатоки», прыгала при обороне на противника до пяти метров. Ух-х...

Чтобы увидеть тарантула, нужно было найти его нору и налить в неё воды. Или помочиться. Тогда паук злым снарядом вылетал из норы, слово желал немедленно найти и наказать обидчика.

Редкие в эскадрилье и нашем полку узбеки и таджики привычно развлекались с фалангами. Они ловили паука — кто не знает его: это мохнатое чудовище с восемью лапами размером с крупное куриное яйцо, оснащённое четырьмя мощными челюстями,

которые как ножницы могли резать всё как в вертикальном, так и горизонтальном направлении, — привязывали один конец толстой нитки за лапу паука, другой за небольшую палочку, которую втыкали рядом с входом в муравейник, и отпускали.

Фаланга могла убежать всего лишь сантиметров на 15-20 — насколько позволяла нитка. Зато у муравьев — не менее хищных и злых, начинался аврал — толпы их выскакивали из муравейника и бросались на фалангу. Одни из них пытались кусать её со всех сторон — она резала их пополам своими чудовищными челюстями, словно стригла овец, — другие подхватывали половинки собратьев и куда-то уносили. Но муравьёв становилось всё больше и больше, скоро уже они облепляли паука плотной массой, впрыскивая в него непрерывно муравьиную кислоту до тех пор, пока фаланга не теряла подвижность. Тогда начиналась транспортировка огромного трупа в подземные кладовые муравейника.

Удивительно, но муравьи понимали, что мешает их транспортировке — они аккуратно перегрызали нитку и — путь свободен. Как они умудрялись затаскивать огромного паука в муравейник, было непонятно, но они это делали, создавая себе запасы продовольствия.

Узбеки или таджики до финала битвы редко досиживали. Такие развлечения они привозили сюда со своей родины, и потому те им быстро надоедали. Впрочем, за всё время моего пребывания в Астрахани и её окрестностях не было ни одного случая укуса кого-то из военнослужащих змейёй или пауком. Наверное, они боялись нас больше, чем мы их...

Капонир нашего звена был обращён к степной речке. И вот однажды во время парковых работ на самолётах мы увидели явление. Метрах в тридцати от нас за речкой стояла лошадь, на которой, не шевелясь, молча, сидела молодая калмычка и смотрела на нас. Как она сумела по голой степи незаметно подобраться к нам, было совсем непонятно. Только потом, мы

увидели в полукилометре от нас небольшую отару овец, которую она, видимо, пасла.

А ещё через какое-то время мы увидели за речкой одинокую лошадь, которая искала губами чахлую траву.

Калмычка исчезла. И вдруг кто-то заорал на весь капонир: «Ты что тут делаешь?» Калмычку обнаружили в кабине одного из «МиГов», — она сидела там и активно пыталась что-то включать, пробовать...

Всем звеном мы вытаскивали её, упирающуюся, из самолёта. Кстати это дело совсем небезопасное для несведущего человека — катапультное сиденье, на котором устроилась наша незваная «гостья», фиксируется лишь двумя страховочными чеками, которые легко снимаются. Без них даже при случайном нажатии на рычаги, пиропатрон срабатывает, и сиденье выстреливается вместе с сидаком на высоту до 110 метров, и без парашюта это дорога в одном направлении. Поэтому тащить силой эту даму из кабины истребителя нельзя ни в коем случае, она может уцепиться за что угодно, даже за шнурки страховочных чек, потому её на-до уговаривать, — только бы знала она русский язык.

Не помню уже, как мы её оттуда выдворили, но ушла на это уйма времени. Она тихо перебрела речку и взгромоздилась на лошадь, двинула её в сторону своей отары. Что она хотела в кабине самолёта, мы так и не поняли, а она нам не сказала. Может, в ней проснулся инстинкт лётчика... Может, осуществляла свою давнюю мечту...

Её поступок можно было расценить по-разному. И как глупость и дикость, и как преступление. Однако, человечность между людьми в то время работала ещё в полной мере, и её не стали привлекать. Посмеялись и только...

Говорят, что с возрастом у человека обостряется память и восприятия прошлого становятся более насыщенными и глубокими,

а чувства, с ними связанные, ощущаются так, словно все эти памятные события произошли только вчера. Особенно это касается воспоминаний о женщинах — любимых женщинах. Мужчина всю жизнь любит своих женщин, даже если это законченные стервы, и расстался он с ними не очень-то дружески. Женщинам не понять та-кого мужского отношения к себе, потому что они мыслят по-женски. Откуда им знать, что в каждой женщине есть что-то такое, своё, чего нет ни в одной другой. И только эта может дать мужчине нечто, которое закрепляется в нём навсегда, постепенно вызывая повод к тоске и ностальгии.

Я сидел на скамье бульвара с памятником Трусову, смотрел на спешащих мимо астраханских красавиц, думал и вспоминал. Да, тогда улицы выглядели несколько иначе, много появилось новых домов и других изменений, но дух города в лице его женщин был всё тот же — они по-прежнему были лучшей половиной населения Астрахани, как это не банально звучит. Женщины тех, прошлых лет, были теперь на полвека старше, но это не умоляло их достоинств в моей памяти — я просто не хотел их сравнивать, потому что всё было так прекрасно...

Женский ажиотаж в нашем полку начался ранней весной моего следующего календарного года в армии. Начальник службы электриков второй эскадрильи капитан Т. однажды в парковый день (это день, когда полк не летает, а полным составом, начиная с командира и до последнего механика, ползает по самолётам с отвёртками и ключами в руках, осуществляя плановый профилактический ремонт) привёл молодую девушку в женском варианте формы сверхсрочника — то есть, вместо брюк — юбка, вместо сапог — туфли. А на погонах одна лычка. Но остальное всё по-настоящему. Звали девушку Аля, Алевтина. Она была молода, и нам с первого взгляда показалась красавицей. Только вот Аля про электричество не знала почти ничего. Ну, разве, что электрические лампы дают свет по ночам, да бывают ещё электрические чайники, утюги... А для чего электричество в самолёте? Вообще, зачем оно ему?

---

— Ничего, будем учить. Приказ вышел там, — сказал капитан и воткнул длинный палец в хмурое астраханское небо, — набрать девчат в авиацию на службу по контракту... Кто желает стать наставником?

Почти все солдаты и сержанты нашей эскадрильи выступили вперёд, готовые немедленно приступить к обучению девушки, причём, не только электрики, но и радисты, радиодальномерщики, оружейники и механики «по самолёту и двигателю» — все наличные авиационные службы, и даже водитель базовской АПУ — автомобильная пусковая установка — вылупился на нашу Алю, словно тоже намеривался немедленно учить её крутить баранку своего ЗИЛа...

Но не тут-то было... Аля хитро улыбалась всем солдатам сразу и с первой же встречи строила всем глазки, но ни у кого ничему учиться, судя по всему, не желала. Для неё главным было, как мы быстро поняли, лишь её личное присутствие...

Так появились у нас в полку девушки-контрактницы.

Женщины и раньше работали по найму в частях нашей базы, но то была работа, не связанная с боевой техникой: они обитали писарями, секретарями и телефонистками в разных штабах, канцеляриях, трудились в столовых, прачечной, и, конечно же, их вотчиной была санчасть, но непосредственно в подразделениях, на технике женщин ещё не было, потому их служебные пути редко пересекались с нашими солдатскими дорогами.

Слегка поэкзаменовав новобранку, капитан позвал сержанта Урванцева — электрика с синим знаком «Специалист 1 класса» на груди, и приказал Але:

— Видишь этого сержанта? Это теперь твой учитель, профессор. Ходи за ним следом по бетонке, смотри внимательно, что он делает, спрашивай и пытайся делать тоже самое. Поняла?

— Так точно! — по-военному ответила Аля.

Урванцев был доволен, мы — нет. Коллективную выучку подменили индивидуальной. За что Урванцеву такая лафа?

Естественно, остальные «учителя» разочарованно отвалили в сторону. Теперь уже Аля не казалась всем такой уж красавицей. Так, обыкновенная девчонка, только в погонах.

Алю мало интересовало электротехническое оборудование самолёта. Не больше её интересовали и «учителя»-солдаты. И как мы позже решили, главной целью её в нашей части были поиски молодых, неженатых лейтенантов, но не могу сказать, стали ли они для неё успешными, или нет. Хотя, ради справедливости, нужно сказать, что, наверняка, не все девушки в полку преследовали те же цели, что и Аля, а может, она просто нас разочаровала своим отношением к нам, и потому вызвала у нас ответную реакцию ревности. Всё может быть...

Вскоре в эскадрилье появилась еще одна девчонка, потом ещё одна и ещё — заметны они стали и в других подразделениях. Но чем больше их становилось в полку, тем меньше мы изображали из себя галантных кавалеров. Наверно, мы просто к ним привыкали.

К концу лета там у них, наверно, видимо, что-то изменилось — женщин в эскадрильях начало становиться всё меньше и меньше, пока они не исчезли в окружающем пространстве совсем. Видимо, женщины в армии эффективны либо на «женских» специальностях, либо в отдельных женских подразделениях. А у нас, возможно, сработала старая формула «женщина на корабле — зло». Тут «корабль» был чисто мужской, да ещё молодой, здоровый. Кто может устоять?..

Примерно через полгода, будучи в патруле, я снова увидел «исчезнувшую» Алевтину. В гражданском платье она кружилась в танце с молодым лейтенантом-краснопогонником на каком-то вечере в Доме Офицеров.

Возможно, она достигла своей цели...

10

Очень жаль, что я вспомнил о нашем купании в ороситель-

ном канале уже не в городе, а в поезде по дороге домой. Это воспоминание, как я понял впоследствии, и стало отметкой моего пребывания в нашей воинской части, и было очень важной деталью в её поисках.

Но по порядку.

Южнее нашего военного городка, примерно, в километре от ворот КПП части, начинаясь у Волги, через плантации помидоров, перца и ещё чего-то вкусного, уходил куда-то на запад, в бескрайнюю степь большой оросительный канал, к которому мы в свободное время бегали купаться, так как до Волги было далеко — несколько километров, — туда мы, естественно, бегать не могли, потому обходились каналом. Тогда такое купание в урывках свободного времени в летнюю жару для нас было очень важным и нужным занятием.

Но особо важным теперь стал тот факт, что канал тянулся несколько километров почти перпендикулярно реке, а это означало, что искать аэродром надо было не на севере, вдоль реки, а на запад от неё — там как раз и располагается сегодня посёлок Трусово, теперь разросшийся во все стороны. Только искать его было уже поздно — поезд уносил меня через ночную степь на север вдоль Ахтубы, и с очень плохими эмоциями. И от этого воспоминания стало ещё досаднее. Словно на рыбалке подцепил огромную рыбину, почти вытащил её, но в последний момент она сорвалась.

А вспомнил я про этот канал потому, что был у меня с ним один, памятный на всю жизнь инцидент, и только потом я сообразил, что воспоминание о нём было мне подсказкой для поисков, хотя запоздалое, вызвавшее во мне нестерпимое желание вернуться.

Канал метра три-четыре шириной был нарезан в глинистой почве роторным экскаватором, отчего получился он тоже метра в три глубиной с крутыми береговыми стенками, которые почти сходились на дне. Получился этакий довольно глубокий лоток

с проблемными выходами из него, но с большим количеством воды. В канал можно было спокойно нырять вниз головой, что мы и делали постоянно, выбираясь потом на берег в нескольких удобных местах, где можно было зацепиться за камыш.

В тот день, я как обычно, бултыхнулся в канал вниз головой с грацией опытного ныряльщика и сразу же почувствовал сильный удар по голове. Не спасли даже «профессионально» выставленные вперёд руки. «Вот хрень!..» — думал я, с трудом выбираясь из воды.

— Что с тобой? — встревожено, спрашивали ребята. — Что?

Наверное, мой вид вызывал в них такие вопросы.

— Что-что? — раздраженно повторил я, растирая ладонью себе макушку и шею. — В дно воткнулся головой.

— Здесь? — не поверил мой сосед по койке в кубрике Женька Рыбалкин. — да мы тут сто раз купались...

— Ну и что?..

Женька соскользнул в канал и точно — воды ему было по грудь.

— Непонятно, — сказал он. — Видимо старая пересыпка осталось.

— Откуда она взялась?

— Или уровень воды в канале упал?

— Да всё может быть...

Так мы гадали-предполагали и ни к чему не пришли. Потому быстро забыли.

— Ты как? — спросил Женька по дороге к базе.

— Да вроде ничего...

— Может, в санчасть?

— Не надо. Пройдёт...

Молодость есть молодость. Да, поболела спина недолго и перестала, не поднялись ещё в казарму, — но не прошла совсем. Только к сорока пяти годам, когда начала на погоду ныть спина,



я узнал, что у меня всё же смещён шестой позвонок. И было очень больно, когда могучий мануальщик ставил его на место.

Но не было бы этого прыжка в воду, я бы так и не вспомнил про канал, а значит, так бы и не вычислил место, где когда-то находился наш аэродром.

11

Очень хотел привезти домой настоящий астраханский арбуз. Я хорошо знал, что это такое, — это особый вкус, особая сладость, особый цвет, особый размер и особый треск, когда арбуз лопался от прикосновения ножа, и потому я, бродя по городу, присматривался к (теперь почему-то не очень частым) арбузным развалам. Арбузы на них казались мне какими-то «ненастоящими, не астраханскими».

Нет, конечно, они были настоящими, но на вид не такими, как те, что засели в моей памяти. И я никак не решался купить хотя бы один, всё ещё надеясь, что набреду на то, что мне надо.

В дни моей службы любой незапланированный выезд из части принимался нами за благо. В августе-сентябре нас часто посылали в какой-нибудь совхоз «катать» арбузы. Это были весёлые поездки, день — провести с гражданскими людьми, среди которых были и красивые девчонки, чего-то стоит, а работа такая для молодых парней — совсем не трудная, да ещё подслащённая сочной, кроваво-красной мякотью полосатого астраханского чуда. «Накатав» несколько совхозных грузовиков, мы «накатывали» и себе в свою грузовую машину, на скамьях в кузове которой приезжали в совхоз, потом в части быстро, всей эскадрильей, перетаскивали арбузы в кубрик и закатывали их под койки. Всё, на две недели арбузами мы были обеспечены, хотя в этот период года в столовой переставали варить компот и на десерт тоже давали арбузы. Но то, столовские, а то — свои... Психология хомяка.

Чем всё же славились астраханские арбузы?

Необычной сладостью, но без приторности. Особым вкусом. После Астрахани я лет тридцать не мог есть арбузы, выращенные на Дону или на Кубани, — они все были хороши, но всё равно не то...

Откуда брался этот особый вкус? Потому что в астраханских бахчах было всё для того, чтобы такой вкус появился. Это, как в Космосе: для того, чтобы появилась жизнь на какой-то планете, нужны 34 условия, — без одного любого из них жизни не будет. Так и тут. Нужны определённые условия: засушливый климат (арбуз сам достаёт воду с глубины 8-10 метров), полупесчаная почва, жара и сильный ветер, при которых только что сорванный арбуз остаётся холодным. Потому что внутри его идёт интенсивный синтез сахара, который и охлаждает плод. Ну и ещё многое другое.

Кроме того, бахчевники рассказывали, что после использования одного участка степи — поля, размером в 2-5 гектар, в песчаной почве всё нужное для следующего полноценного арбуза вновь накапливается только за двадцать лет, — арбуз забирает из почвы всё, что ему нужно, за один сезон. Не знаю, как сейчас, но тогда велся строгий учёт оборота бахчевого землепользования — для астраханских бахчей очень важно наличие свободных земельных пространств.

Не купил, и, в принципе, хорошо сделал. Потому что, в конце концов, спросил на одном из развалов: откуда арбузы?

— Это из Чечни прудовые арбузы, бери, не пожалеешь,.. — ответил продавец, чёрнобородый мужчина лет пятидесяти.

Из Чечни арбузы везут в Астрахань?! Ну, чудеса! Что-то не верилось в их достойную замену астраханским арбузам...

И точно, они не похожи...

— А что это за прудовые арбузы?

— Возле пруда растут, — ответил чеченец. — Чтобы поливать... Тогда большой растёт...

Всё ясно.

Я вспомнил невкусные поливные узбекские арбузы и пошёл

---

дальше, надеясь ещё найти неполивные, «песчаные», похожие на астраханские, арбузы. Полив, как не странно, главный враг арбуза...

Я так и не нашёл подходящего развала, а в последний перед отъездом день вообще было не до арбузов. И не привёз, жаль...

## 12

На два месяца позже меня в нашей «эскадре» появился радиомеханик Витька Агеев и сразу заявил о себе, как поэт. Он писал «военные» стихи по случаю и без оногo, писал часто, густо очень плохие стихи — выросший в глухой сибирской деревне, где, возможно, даже библиотеки не было, он практически никогда не читал хороших стихов и вообще не понимал что это такое, но они помогали как-то выдвинуться среди солдат и сержантов.

Я сам хоть стихов не писал, но много читал до армии, а в ШМАСЕ у нас была отличная библиотека, помимо прозы я познакомился с хорошей поэзией, открыл для себя много прекрасных поэтов, и потому кое-что в поэзии смыслил. Подтолкнула меня к чтению стихов фраза, сказанная когда-то Константином Паустовским: «Я сам стихи не пишу, но очень люблю хорошую поэзию, много её читаю и прекрасно понимаю».

Начальник штаба нашей эскадрильи (эскадрилья, как боевая единица, приравнивалась к общевойсковому батальону), единственный нелётной профессии офицер в эскадрилье, майор Набиуллин посчитал за большую удачу приобретение подразделением такого поэтического дарования и стал его повсюду продвигать. Вскоре Витькины «стихи» уже висели в каждом номере стенгазеты, которую по поручению того же Набиуллина приходилось делать мне, как «специалисту» писать печатные буквы пером на ватмане, затем его стихи стали появляться в гарнизонной газете и даже окружной, — за это ему иногда приходил почтовый перевод рублей на двадцать-двадцать пять — такие деньги для солдата были богатством.

Агеев принимал денежные переводы за признание своего таланта, гордился ими и потому писал ещё больше, и ещё хуже — он не мог себя контролировать, как поэт, и потому попал в ситуацию «антиучёбы» стихосложению.

Я читал его стихи и возмущался: как такое можно печатать. Я тогда ещё не знал, что с таким явлением, как вмешательство некомпетентных, лишённых литературного дара и понимания людей в творчество, в будущем мне придётся сталкиваться довольно часто.

А потом как-то решил и сам попробовать.

Был у нас один очень «скучный», но «кой-кому» очень «нужный» наряд «ДСП» — «дежурный по стоянке подразделения». По субботам работы на самолётах заканчивалась в 12 часов, и эскадрилья уезжала: солдаты — в казарму и на обед, офицеры — по домам, на стоянке оставался один дежурный, который должен был в 17 часов сдать печати на самолётах, инструментальных ящиках и прочем «имуществе» в капонири начальнику караула роты охраны.

Но тому, кто хотел уединиться на эти пять часов, времени доставались сполна.

Наряд считался клёвым, потому что был лёгким. Сидишь на вершине этого самого эскадрильского бугра или холма в вагончике или на вышке (в зависимости от погоды и времени года), смотришь по сторонам, которые с высоты холма хорошо просматриваются, иногда — в небо на идущие на посадку самолёты, если такие случались в субботу, или на дорогу, на которой должна появиться машина с караулом или проверяющим, — она, наконец, появляется, и ты минут за пятнадцать сдаёшь начальнику караула все печати и пломбы стоянки, и этой же караульной машиной уезжаешь в часть. Как раз — к ужину. А в промежуток времени между «до» и «после» можешь или читать книгу, или даже слагать стихи. Главное, не спать, чтобы во сне не быть пойманным проверяющим.

Но кто же из молодых ребят будет спать в то время, когда есть чем заняться... Вот и я, без зависти, но подталкиваемый «славой» Витьки Агеева, попав однажды в этот наряд, от нечего делать, стал заниматься стихосложением. Позже начал даже напрашиваться у старшины в наряд ДСП. Каждый раз. Сам себя в глазах друзей стал загонять в скукотищу одиночества...

Стихи слагались легко и удивительно быстро. «Ревут самолёты, взлетают стрелой...» Ну и так далее. И много за одно дежурство. Хотелось блистать, но не как Витька, а как лучшие поэты, которых я читал...

На следующий день всё «блистательное» куда-то исчезало, оставалось лишь «много и быстро». Не просматривались в стихах ни Тютчев, ни Есенин, ни любимая поэтесса Юлия Друнина, не говоря уже о Пушкине или Лермонтове. Всё было «мимо» великих, а меньше я не хотел, и потому пыхтел снова и снова, и приходил к тому же результату. Но однажды мне стало ясно, что большой поэт из меня не получится. Никогда! А быть «маленьким» не хотелось. И тогда я спросил у самого себя: «Если я напишу три-четыре сотни посредственных стихов, обогатит ли это русскую литературу? Вряд ли...»

Но тяга «портить» бумагу уже жила во мне, и я понял: нужно переходить на прозу, которой я тоже прочитал великое множество и тоже достаточно хорошо понимал.

Рассказы пошли — я их записывал в толстые общие тетради, которые после дембеля привёз домой, — они-то в будущем и составили основу моей первой книги.

Так что польза мне от Витьки Агеева была несомненной.

Вообще-то, Астрахань я вполне обоснованно могу считать городом, где началась моя литературная деятельность. Именно здесь проходили мои бесплодные попытки найти «свою» поэзию, именно здесь, в вагончике, были написаны, а позже — в свободное время на низенькой трибуне базовского стадиона, мои первые рассказы, которые в последствии получили хорошую

оценку критиков и были приняты в печать Ростовским книжным издательством.

Но тогда свои «труды» я никому не показал: ни в эскадрильи ребятам, ни тем более майору Набиуллину. Я не был Витькой Агеевым, и потому, честно говоря, стеснялся. Ещё назовут придурком, Ведь писатели — особый народ, не земной, а ты кто?..

И только спустя несколько лет отважился и показал свои рассказы, уже собранные в книгу, известному московскому поэту Александру Кирилловичу Кореневу. Тот прочитал и, вместо того, чтобы давать мне советы, говорить, что нужно ещё поработать и ещё что-то типа того, взял и без моего участия отнёс рукопись в Комиссию по работе с молодыми Союза Писателей СССР. Была тогда такая комиссия. Книга сразу получила две положительные рецензии и была рекомендована Ростовскому книжному издательству к изданию и скоро вышла в свет. Всё уже двигалось как бы само собой. Так родилась моя первая книга, которая наполовину состояла из «астраханских» рассказов. Ведь основа её была создана именно в Астрахани на стоянке нашей эскадрильи, под рёв влетающих самолётов. Всё это стало святым для меня. И пусть моё небольшое лирическое отступление будет посвящено военному городку и нашему аэродрому, который я уже два дня искал безуспешно, и самому городу Астрахань. И даже чуть-чуть — Витьке Агееву...

Позже я осознал: надо было всё же спросить у кого-нибудь, где он может быть или не быть. Я был почти уверен, что он уже не существует, как и многое в нашей стране за эти годы...

13

Было и, наверное, бывает даже такое...

Мы сидим на политзанятиях в Ленинской комнате нашей эскадрильи и лениво слушаем замполита, который что-то рассказывает о подвигах лётчиков в Великую Отечественную войну.

Слушаем и поглядываем в окна, в которых тоже лениво светится прозрачное весеннее небо, и настроение наше точно соответствует весеннему. Периодически в широко распахнутые окна дрожью стёкол врывается рёв взлетающего самолёта: сегодня четверг, у полка «Сушек» лётный день, и не просто лётный день, а особенный. Говорили, что к ним прибыла какая-то высокая комиссия из штаба Бакинского округа ПВО — целая толпа генералов и полковников, но не лётных, а с перекрещенными пушечными стволами на чёрных петлицах. И чего они там могут проверять в благородном и героическом авиационном полку? Что они понимают в авиации? Так мы меж собой говорили о членах этой комиссии, при этом презрительно сплёвывали. Почему это не лётчики командуют округом, а какие-то чёрнопогонники?!

Но тем, конечно, мало было дела до наших горделивых рассуждений. Они занимались тем, что им полагалось по их должностям. Но их вояж к нам неожиданно закончился прескверно.

Неожиданно в окна ворвался звук сразу нескольких самолётов, и тут в небе что-то гроыхнуло так, что в Ленинской комнате задрожали даже столы и стулья. Мы кинулись к окнам. В небе расплывалось какое-то сизое облако, из которого густо сыпались на землю какие-то обломки. Мы ничего не понимали. Потом кто-то из догадливых крикнул:

— Самолёт сбили! Наверное, американца...

У нас и раньше были тревоги «по шарам» или «по нарушителю», когда наши самолёты поднимались и гонялись либо за воздушными зондами-шпионами, либо за американскими самолётами-разведчиками но это всегда происходило на очень большой высоте, и с земли ничего рассмотреть и даже услышать было нельзя, — шары и самолёты-нарушители просто отгоняли на ещё большую высоту, с которой аэрофотосъёмка становилась

бессмысленной, и, в общем, никогда никого не сбивали. А тут так низко, да ещё сбили самолёт...

К вечеру, наверное, вся база говорила о случившемся. И главной причиной к этому был тот факт торжества, что после инцидента вся высокая комиссия немедленно погрузилась в свой транспортник и умотала в Баку. Но нас это очень насторожило. Как говорится, шила в мешке не утаишь, и скоро уже мы все знали, что же произошло.

В зону действия ответственности ПВО нашего полка «СУ-11» каким-то образом залетели два чужих «СУ-9», как оказалось потом, откуда-то из Краснодарского края. Как это у них получилось, не знаю. На сигнал «Свой-чужой» они сначала не отвечали, потом, вроде бы, ответили. И как-то разобрались, что «Девятые», хотя и из чужой зоны ответственности и относятся к Северо-Кавказскому Военному Округу, но всё равно свои, советские, и что-то вроде как, заблудились. Видимо, плохо сработала их служба управления полётами и вывела самолёты «не туда». О ситуации доложили главному проверяющему генералу, самому старшему по званию и должности в комиссии, — тот, не долго, думая, приказал:

— Объявить боевую тревогу! Поднять дежурную пару!

Генерал, видимо, хотел проверить бдительность полка наших «Сушек».

Но есть Устав. По боевой тревоге подняли дежурную пару с боевого дежурства. Навели на цель. Ведущий лётчик доложил на землю:

— Цель вижу! Захват!

На связи был сам окружной генерал в чёрных погонах. И он приказал:

— Цель уничтожить.

И лётчик «Сухого» выполнил приказ. Он выпустил ракеты, наверное, удивляясь, что ни-когда у него не было такой лёгкой цели. Ведь «СУ-9» совсем не пытался уклониться или сбежать, его пилот, видимо, даже не знал, что по нему стреляют.



Мы видели из окна в Ленинской комнаты, что произошло в воздухе. Но не в штабе «Сухих». После того, как лётчик доложил: «Цель уничтожена, идём на базу...», кто-то каким-то образом выяснил, что сбили не врага, а просто нарушителя, но своего. Поднялся переполох. Генерал начал орать: «Почему подняли самолёты с боевыми ракетами, почему не с учебными?» Ему ответили: «На боевом дежурстве учебных ракет не бывает!»

Я, конечно, привожу только суть разговора, который слышать не мог, но который десятки раз был повторён солдатами и офицерами нашей авиабазы. Видимо, и тогда случались в армии некомпетентные высокие чины..

Генерал с комиссией тут же потребовали свой транспортник, погрузил в него свою команду и улетел в Баку. Так закончилась очередная инспекционная проверка боевого авиационного полка. Полк выполнил своё предназначение, достойно справился с поставленной задачей. Мы были довольны, что, пусть хотя бы на наш взгляд, чёрнопогонники были посрамлены.

А дальше было, словно по поговорке: «И смех, и грех».

«Су-9» и СУ-11» в воздухе практически отличить невозможно. Мы видели из окон, как один самолёт посыпался кусками с неба, и тут же появилась ещё пара, которая заложила кру-той вираж над местом этого воздушного боя и ушла на юг, но был слышен удаляющийся гул четвёртого самолёта, который, как мы узнали позже, улетел из-под этого неожиданного об-стрела куда-то в район Минеральных Вод, где его, наконец, «выловили» с почти пустыми баками и посадили.

Лётчик сбитой «Девятки» остался жив. Его спасла бронеспинка сиденья. Однако, один небольшой осколок засел в левом плече. Пилот вывалился из разрушенной кабины, вручную раскрыл парашют и условно благополучно приземлился в середине дня в горячей глиняно-песчаной калмыцкой степи с чахлой, ещё не совсем выгоревшей, зеленью.

Почему «условно благополучно»? Потому, что приземлился

неподалеку от степного жилища одного бдительного калмыка, который пас овец. Лётчик сначала очень обрадовался, что сразу попал к людям, которые помогут ему связаться с властями и определиться, где он находится, но, увидев два вороненых ствола, направленного в него ружья, быстро изменил свои надежды.

— Я свой, лётчик, я русский, видишь, говорю по-русски, — умолял он недоверчивого пастуха, постепенно истекая кровью. — Я ранен. Меня сбили свои... Я не знаю, кто... У тебя какая-нибудь связь есть, сообщи в милицию...

В то, что «сбили свои» калмык не собирался верить и потому ружья не опускал.

— Знаю я вас, американцев, — пастух говорил уверенно, будто на самом деле имел кучу знакомых среди американцев. — Все вы хорошо говорите по-русски. Я вот тоже говорю, а не русский... На разведку, гад, летал...

Вертолёт разыскал лётчика по обломкам самолёта только через пять часов в полубессознательном состоянии. И всё это время бдительный калмык держал его под солнцем на чёрной мушке меж двух стволов. Ему, кажется, потом объявили благодарность...

## 14

Сборная Астраханского гарнизона по футболу выступала в гражданской лиге чемпионата области, и постоянно разъезжала по разным районам и посёлкам. Быть в составе этой сборной — означало иметь дополнительную возможность находиться среди гражданских людей. Сборная как бы приоткрывала для нас ворота части без увольнительных и нарядов патруля, что членами сборной очень ценилось.

Весной кто-то из спортивного начальства заметил меня на стадионе и пригласил в эту сборную. Надо сказать, что команда сборной состояла не только из солдат и сержантов на-шей

базы, там были военнотружущие и из других частей, о которых мы иногда не знали. Но основой её формирования были всё же наши авиационные полки.

Нас очень неохотно отпускали в эти разъезды по области, но спорт в армии — дело святое и главное, потому начальству приходилось мириться с нашим отсутствием, хотя игры проходили только по воскресеньям, и наше отсутствие никак не влияло на боеспособность полков.

Приглашение в сборную значило очень многое. Ты сразу как бы становился человеком другого ранга, у которого достаточно преимуществ: в наряды ты не ходишь, вместо парковых дней — тренировки, тебя уже все в гарнизоне знают, ну и так далее. Сборная, как спортивная субстанция существовала прочно, хотя механиков в лётных полках не хватало, — ведь способности к футболу не есть составляющая какой-нибудь воинской специальности.

Мне удалось всего три раза съездить в райцентры на игры, а потом... Потом ввели войска в Чехословакию, и всех ребят лётных полков из сборной изъяли. Всех до одного.

Внезапно изменилось многое. Нас в буквальном смысле переселили на аэродром, и мы спали, не раздеваясь, прямо на бетонке под самолётами, куда привезли матрасы и сложили рядами. Офицеры ночевали в домике ИПУ на раскладушках. Самолёты стояли заправленными и с полными комплектами вооружения. И даже мы, механики, теперь таскали за спиной на ремнях свои СКСы (Самозарядный карабин Симонова), от которых уже основательно отвыкли. Ну что ж, если бытовала поговорка: «Там, где начинается авиация, там кончается дисциплина». Только я всегда был не согласен с этой поговоркой. Она касалась подшитых подворотничков, надраенных пуговиц и сапог, ходьбы строем. Ещё в год моего приезда нас пытались обучить строевому шагу для участия в городском параде 7 ноября. Но бесполезно. Почти месяц мы ежедневно пытались

чеканить шаг, пока начальство не разозлилось, и нас от участия в параде отстранило.

Но в авиации дисциплина была и самая железная. Это дисциплина ответственности каждого за всех. Здесь был один Бог — техника, которому молились все, и за небрежное отношение к ней наказывали строго или переводили в другую, «сухопутную» часть...

В ту ночь над нами почти непрерывно гудели транспортники «АН-12». Мы ещё не знали, что это такое, и, тревожно вглядываясь в ночное, утыканное крупными звёздами небо, лишь строили догадки.

С ИПУ приехал комэска с кем-то из офицеров, посмотрел на нашу реакцию на ночной гул самолётов и сказал:

— Утром слушайте радио.

Утром приехал на стоянку начальник штаба полка, собрал почти всех солдат и сказал:

— Московское радио объявило о вводе наших войск в Чехословакию.

Мы напряжённо молчали. Но он больше ничего сказал...

А примерно через три часа на аэродроме случился довольно тревожный инцидент.

Тогда у нас на «отстреле» как раз была партия лётчиков из Чехословакии. Они прилетели на своём «Ил-14», два дня постреляли на наших самолётах, и тут случилось... В день, когда сообщили о вводе войск, чехи «взбунтовались» — они потребовали от нашего начальства немедленной отправки их на Родину.

Естественно, получили отказ. Наше начальство само, наверняка, ещё не знало, что делать, потому на всё наложило запрет. Тогда чехи загрузились в свой самолёт и вырулили на взлётную полосу. Мы с рулёжек наблюдали, как следом за ними пристроились два «МиГа» первой эскадрильи с подвешенными на крыле ракетами. Намёк был предельно ясен и выразителен. Так они и

стояли довольно долго с работающими двигателями, — видимо, вели радиопереговоры. О чём?

Нас, конечно, об этом никто не ставил в известность, но догадаться можно было вполне. Прошло с полчаса, и первым покати́л со взлётки на стоянку «Ил». За ним стройной парой вернулись на свои стояночные места «МиГи».

Чехи улетели домой через сутки. Видимо, разрешение было получено...

## 15

Иногда бывали такие особые июльские ночи, когда жара и полчища комаров действовали в особо тесном и слаженном сотрудничестве: жара не позволяла нам укрыться простынями с головой, комары же — возможности раскрыться, а всякие аптечные мази и жидкости плохо помогали, тогда мы перекочёвывали с постелью в душ, в котором никогда не было горячей воды (солдату положена горячая баня, а не горячий душ), и там мочить всё: простыни, ватную подушку, байковое одеяло, самого себя — что давало возможность укрыться на койке с головой и проспать часов до пяти утра — за это время постель успевала высохнуть. Наверное, это придумал какой-то солдатский гений!

Я не понимал, почему в Ростове комары появляются по погоде: перед дождём, при падении атмосферного давления, а здесь — они были всегда до глубокой осени и ничего их не смущало.

## 16

Ещё одним местом повышенного солдатского внимания был базовский клуб, который состоял из двух частей: зимнего, капитального здания с кинозалом и сценой и летней веранды с рядами длинных, выкрашенных синей краской скамеек перед большим белым киноэкраном.

В клубе по субботам и воскресеньям показывали кинофильмы, иногда к нам заглядывали артисты из города или округа

и давали концерты, особенно большие, — перед какими-то праздниками, проводились разные важные собрания и другие мероприятия. Получалось, что каждый солдат нашего полка хотя бы раз в неделю, но в клубе бывал.

В начале лета по базе «прошёл слух», что к нам, с одним из московских полков, прилетел знаменитый наш асс, трижды Герой Советского Союза, генерал Иван Никитович Кожедуб, тогда заместитель главкома ВВС страны, а вечером мы увидели его в летнем клубе. Зачем он прилетал на нашу базу, что делал на аэродроме, мы не знали, но он очень отметился в нашем сознании своей негенеральскими простотой и задушевностью в обращении с солдатами.

Обычно, все «прилётные» офицеры, как советских, так и «варшавских» полков, по окончании дел на аэродроме, спешили в город. Чем они там занимались, можно только догадываться. Демократы из Болгарии, Польши, Венгрии Румынии скупали всё железное — кастрюли, сковородки, ложки, вилки, кружки, утюги и тому подобный бытовой металл. Один венгр даже где-то раздобыл и тащил в гарнизонную гостиницу старую зингеровскую швейную машинку. В их странах дешёвыми были изделия из пластмассы, а всё металлическое — очень дорого. Вот они и старались воспользоваться случаем приезда в СССР и купить то, что в Союзе было гораздо дешевле. Они прилетали своими транспортниками и доплачивать за лишний груз в самолёте им не приходилось. Но, судя по количеству закупок, «железо» приобреталось не только для себя. А вот летали болгары, венгры, румыны, поляки, на наш искушённый взгляд, неважно, может, из-за врождённого национального стяжательства. Это мы так думали, — надо же эти два разных качества как-то объединить.

Зато хорошо летали немцы и югославы. Некоторые, почти как наш «дед». И, наверное, потому, что ничего не покупали, — не обременяли свои головы проблемами закупок и их транспортировки. Говорили, что они ходили по городу и только на всё

смотрели. Видимо, установка у них была такая: смотреть, но не покупать. И за это мы их уважали больше, чем других.

Ещё были вьетнамцы, выпускники советских лётных училищ. Тогда как раз во Вьетнаме шла война с американцами. О них можно говорить много, но скажу одно: когда вьетнамский лётчик на своём МИГе катил мимо по рулёмке, все удивлялись, как он это делает. Потому что, казалось, что в кабине самолёта никого нет, и тот катится сам по себе. Только иногда блеснёт в свете солнца верхняя полусфера шлемофона, и тут же скроется, — настолько все они были маленького роста. Как они летают, никто из нас не знал, но не разбиваются, и то, Слава Богу... И ещё про них говорили, что участвуют они на Родине максимум в трёх боях, и погибают...

Как-то перед вылетом, к нам, механикам самолётов, подошёл лётчик-немец и стал разговаривать на хорошем русском языке. Я спросил у него, откуда он так хорошо знает русский язык.

Ответил он не совсем ясно.

— Хорошо? — переспросил он. — Хорошо знаешь чужой язык — это когда ты не переводишь чужой на свой и обратно — свой на чужой, когда мыслишь и понимаешь без перевода. Тогда это будет хорошо...

Мы ещё поговорили с ним о том, о сём. Немец был доброжелателен, и его слова мне запомнились: действительно: надо понимать, а не переводить...

Куда девались в свободное время офицеры советских полков, мы не знали. Может, просто отсиживались в гостинице. Никуда не девался тогда только один человек — генерал авиации Иван Никитович Кожедуб. Каждый вечер после ужина и задолго до кино, которое нам с его приездом стали показывать каждый день, он приходил в летний клуб, усаживался на скамью, — одетый в спортивный костюм и полукеды, он не выделялся генеральскими звёздами среди посетителей клуба, — но тут же его окружала целая толпа солдат, — начиналась беседа — простая задушев-

ная беседа, в которой было и смешное, и серьёзное. Вопросы задавались любые, и на все он охотно отвечал, всегда что-нибудь интересное рассказывал.

Солдаты льнули к генералу, проявляя высшую степень уважения к лётчику-легенде, а он сполна платил нам — молодым ребятам, не видевшим той страшной войны, в которой он участвовал, — тем же. И чувствовалось, что все мы: и рядовые, и генерал были одним народом, воинами одной народной армии.

А однажды с генералом в клуб пришёл базовский фотограф и сделал общий снимок Ивана Никитовича Кожедуба с солдатами и сержантами базы, который потом напечатали в гарни-зонной газете. А утром он улетел, и все мы уже жалели об этом — нам долго потом не хватало общения с генералом Иваном Никитовичем Кожедубом, но мы гордились тем фактом, что были участниками встреч с живым трижды Героем Советского Союза. Настоящим Героем...

В авиации все командные должности занимали только летающие офицеры и генералы. Не знаю, был ли тогда Иван Кожедуб летающим заместителем командующего ВВС или для него сделали исключение. Впрочем, нас это не интересовало: для нас он был просто человеком-легендой, доступным и понимающим солдата.

Так пролетела неделя с Кожедубом, и было очень жаль, что она закончилась...

17

Чёрным днём 27 марта 1968 года вместе со своим командиром полка Владимиром Сергеевичем Серёгиным погиб Юрий Алексеевич Гагарин. И практически через две-три недели к нам на «отстрел» прилетел полк «Серёгина», в котором проходили лётную стажировку космонавты.

Тогда не только страна, весь мир говорил о гибели первого



космонавта, — и каждый пытался хоть как-то узнать причины этой трагедии.

В полку «Серёгина» тоже были солдаты-механики, и мы, естественно пытались что-то вы-ведать у них о гибели космонавта. Но они тогда отличались от нас тем, что у них были одинаково хмурые лица, и отвечали они на наши вопросы одно и то же: не знаю. Возможно, им запретили что-то рассказывать посторонним, но, скорее всего, ребята на самом деле ничего не знали, — они же не были вместе с погибшими пилотами в самолёте, а информация была такая, что даже шёпотом её старались не разносить. Хотя мир так устроен, что любая информация каким-то непостижимым образом всё равно когда-то просачивается к широким массам.

А ещё через неделю полк улетел, оставив нам кучу безответных вопросов, а вскоре появилась и длинная официальная версия, из которой ничего нельзя было толком понять. Якобы Гагарин, избегая столкновения с «падающим» на него новейшим тогда самолётом «СУ-15», резко отвернул в сторону и на малой высоте свалился в штопор...

А через месяц в полку «СУ-11» появились два тех самых «СУ-15», о которых говорили при аварии, — при виде этого «тяжеловеса» многие согласились с версией катастрофы самолёта «МиГ-15» Гагарина-Серёгина. Да, мощная машина, — коротенький «Мигарёк-15» по сравнению с ним просто пушинка, попасть ему даже в спутный след двух мощных двигателей уже катастрофа. Тайна гибели первого космонавта, говорят, и по сей день полностью не раскрыта. Вероятно, для широкой публики...

Однажды, в начале лета произошло нечто необычное. Весь гарнизон нашей авиабазы выгнали на дорогу, ведущую в город, и заставили собирать в мешки мусор и на ней, и рядом с

ней, а гражданские рабочие-коммунальщики, одновременно с нашим сборами мусора, красили известкой дорожные столбики и даже стволы редких деревьев у дороги. Никто ничего не понимал, никто ничего не объяснял. Это много позже кто-то ушлый придумал название такому действию: «Красить для высокого начальства траву в зелёный цвет». Часа четыре больше сотни солдат «ползали» на семи километрах дороги, приводя её «в надлежащий вид». Наконец дали отбой, личный состав погрузился в бортовые «ЗИЛы» и отправился по казармам. И только к вечеру просочился слух: кто-то очень большой и важный прибывает в Астрахань и, наверняка, поедет в Обком КПСС, дорога не должна «смущать» мусором начальственный взор, потому обязана выглядеть идеально чистой. Я, думаю, по такому случаю далеко не все машины в тот день пропускали на дорогу в аэропорт.

На следующий день со своей рулёжки мы увидели это самое «высокое» начальство. На нашу полосу приземлился, не совсем обычно раскрашенный «ИЛ-18», вырулил на гражданскую стоянку аэродрома. Подкатили трап, открылась дверь, из самолёта вышел сам Леонид Ильич Брежнев, очень похожий на свои многочисленные бровастые портреты, за ним, как горох, посыпались сопровождающие.

По случаю прибытия партийного вождя наши полёты перенесли на четыре часа позже, — нам всё было интересно, и мы, побросав работу, смотрели на происходящее, «раскрыв рты».

Генсека встречала целая толпа местного гражданского и военного начальства. Леонид Ильич всех приветствовал: кого-то расцеловывал, кому-то просто пожимал руку, что-то всем говорил. Он был в спортивном костюме, и, видимо, это во многом снимало напряжение.

Неожиданно, вместо того, чтобы идти к, ждущей его, кавалькаде легковых машин, Генсек резко повернулся и направился к стоящему неподалеку вертолёту, с медленно вращающимися

винтами. Ему помогли взобраться в кабину, несколько сопровождающих лиц последовало за ним, винты набрали обороты, машина взмыла и скоро исчезла в южном направлении...

— На рыбалку или охоту полетел в пойму, — сказал кто-то из офицеров ИПУ. — Большой любитель охоты... В обком не захотел.

— Что он там забыл, — отозвался другой. — Зато теперь местные партийные шишки облегчённо вздохнули, хотя всё равно их внимание будет приковано к пойме, но это гораздо легче, чем к делам...

Мы чувствовали себя крупно обманутыми. Нам было жутко обидно за свой «мартышкин труд». А ведь на самом деле получается так, что мы, «ползая» по дороге, всего лишь на всякий случай предохраняли местных партийных бонз от возможного недовольства Генсека. А он, может быть, и ничего не заметил бы. Кому это нужно? Нам? Год дорогу никто, кроме ветра, не мёл, а тут решили даже «вылизать»! Ну, хотя бы взял да на минутку заехал в Обком. Или к нам в городок, что ближе... И мы не зря «ползали»...

Но таковы отношения высокого и не очень высокого начальства, их жизнь, и наши желания с ними никак не стыкуются. Так всегда и во все времена, когда второе очень боится первого и боится одно своё ответственное место...

## 19

Был в полку особый наряд, который тогда существовал (наверное, существует и сейчас) в каждой воинской части: караул у знамени полка. Строгий, ответственный наряд, и, как тогда говорили, почётный, в него назначали, якобы, лучших солдат части. Попал в число этих «лучших» и я.

Правда, мы, по своей молодой простоте, особого почёта не чувствовали, а вот то, что это и самый физически тяжёлый наряд, поняли сразу. Два часа простоять не шевелясь, только из-редка

переходя из стойки «Вольно» в стойку «Смирно» и назад — это, когда кто-нибудь из проходящих мимо знамени (а они бродят днём по штабу непрерывно), отдавал ему честь, а ты должен был отвечать вытяжкой «Смирно» и поворотом головы в сторону идущего, — скажу прямо не очень легко. Хоть ты и молодой. Позже кто-то из наших караульных где-то «раскопал», что при неподвижном стоянии на двух ногах у человека работают около 200 мышц, тогда как при ходьбе в половину меньше, потому и устаёшь в два раза быстрее.

И так сутки — четыре раза по два часа. И тут многое зависело от того, в какую смену ты попал.

Самой лёгкой считалась первая смена: с шести до восьми вечера по штабу ещё ходят офицеры, да и ты ещё свеж и полон сил, с двенадцати до двух ночи спать уже хочется, но ещё не сильно, а в шесть утра — привычно просыпаться, да и заканчиваешь ты караул на четыре часа раньше остальных караульных — в два часа дня.

Потому все стремились попасть в первую смену. Но кому-то нужно было ходить и в третью — самую невыгодную и трудную. Но слово старшины было «железным»: куда скажет, туда и пойдёшь. Короче, наряд был на самом деле не из простых, контролировался жёстко, — ведь при утрате знамени воинская часть расформировывалась, её командир шёл под расстрел, — а выбор лёгкости смен, в общем-то, ничего не давал.

Но чувство затаённой гордости своим особым нарядом он всё же приносил: воспитанные на уважении к знамени вообще, мы чтили его, и эта причастность к охране знамени оправдывала все трудности.

Но может, тут была и доля и другого ощущения, самого главного для нас в полку, — быть «неприкасаемым» для всех остальных нарядов, и никакой старшина не мог тебя «засунуть», например, на кухню или ещё куда-то.

Наряд «под Знамя» давал нам ещё одно преимущество перед

другими нарядами: было в этом наряде: команды «знамёнщиков» формировались приказом по полку, и мы знали все свои смены и могли вычислить дни их на полгода или на год вперёд. Что это давало нам, мы не знали, но какое-то чувство удовлетворения оно приносило. Ты всегда заранее знал, когда тебе заступать.

Ночью стоять у знамени было гораздо легче. Штаб пустой. Каждый шаг в нём гулко разносился по коридорам двух этажей и вызывал в тебе напряжённое внимание. Это могли быть шаги начальника караула, или дежурного по части, или, крайне редко, проверяющего — дежурного по гарнизону. Только ночью уже самым трудным становилась борьба с засыпанием. Главным усилием было: не заснуть и не попасть под «визит» проверяющего.

Москвич Витька Чернышов однажды не выдержал, приставил карабин к стене, а зад приткнул рядом и сладко заснул стоя, как лошадь. И нарвался на дежурного по части. Тот, обнаружив, спящего часового, тихонько пробрался к знамени, забрал беспризорный карабин и отнёс его в караульное помещение, предъявил «трофей» и «устроил скандал» начальнику караула.

Что потом было?! Витьку и начальника караула с полгода «крестили» вдоль и поперёк, приводили их нам, как преступный пример, почти на каждом построении полка, — ну и так далее. Но удивительно, даже на губу не посадили, хотя Витьке реально грозили военный суд и дисциплинарный батальон. Но в армии подобные вопросы решает командир части. Видимо, сработало то, что в авиаполках каждый хороший механик на учёте и заменить его сразу не так просто. Предпочли боевую готовность полка наказанию за разгильдяйство рядового солдата. Да, как мы понимали, шум произведённый вокруг имён провинившихся солдат, давал больший эффект дисциплины для всех караульных, чем осуждение где-то в неизвестном месте и отправка в неизвестном направлении.

Я, чтобы не заснуть, брал в базовской библиотеке книжицы

стихов формата А-6, которые помещались в нагрудный карман гимнастёрки и ночами потихоньку читал, при этом всё слышал и всё видел. Позже в этом кармане нашлось место для небольшого блокнотика и карандаша. Писать стоя было неудобно, но ведь хорошую мысль нужно срочно зафиксировать на бумаге, пока она не убежала. Приходилось стараться. Тем более, когда слышишь рассветное пение птиц за окном, и мир тебе кажется прекрасным и гармоничным...

Это, конечно, тоже было нарушением, но не столь тяжким, как сон на посту №1. Да и вероятность быть пойманным сводилась к нулю, — в гулком ночном коридоре была повышенная слышимость. Но облегчение при несении наряда всё же приносило большое...

## 20

В те времена в СССР не принято было «косить» от армии. Может, кто-то где-то это и делал, но тогда всё это глубоко пряталось, и не только за вероятное уголовное преследование «косаря». Просто отлынивать от армии в стране было не престижно, потому что сразу ставило перед всеми интересующимися один вопрос: «Ты почему не служишь, наверное, больной какой-то или ещё что-то у тебя не так?».

Быть «каким-то больным» молодому парню в те времена не очень-то нравилось, тем более, когда все его друзья и одногодки были здоровыми и шли в армию, а девчонки «ждали» уже их, переписываясь.

Всё тот же Витька Чернышев из Москвы был сыном генерала, работавшего в министерстве Обороны, и когда парни нашей эскадрильи спрашивали у него, почему папаша не «пристроил» его служить (не «откосил», а «пристроил»...) куда-нибудь на «хорошее» место в столице, он отвечал сердито: «Об этом даже говорить нельзя было. Отец сказал, я начинал с нуля, начинай с нуля и ты. Иди, служи Родине...»

В те времена это было нормально. Как и мышление самих генералов.

Я не знаю, как с этим обстоит в современной армии, но тогда ребята, начиная с четырнадцати лет, когда впервые попадали в поле зрения военкомата, спокойно готовились к службе в армии, а, когда подходил призывной возраст девятнадцать лет, также спокойно уходили служить по призыву. На три года. Против которых нынешний срок в один год, кажется почти пустяком.

Тогда о призыве на три года бытовала такая поговорка: «Солдат служит всего один год — второй. Первый год он привыкает, второй — служит, а третий — собирается домой...» Это, конечно, простой солдатский юмор, но не без основания — третий год выделяется своей исключительностью, которая иногда приводила к дедовщине, о которой так часто рассказывали в России на гражданке.

Наверняка, дедовщина где-то существовала, но у нас даже каких-либо признаков её не существовало, и как однажды нам сказал замполит эскадрильи майор Ч., дедовщина эта исходит прежде всего от командира части (полка). Если командир части не хочет заниматься бытом солдат и перекладывает его на офицеров, в части обязательно будет дедовщина, потому что в таких случаях офицеры тоже не хотят заниматься солдатами и профилактикой дедовщины, и перекладывают свои прямые обязанности на заслуженных «дедушек» — солдат третьего года службы.

И тогда дедовщина расцветает жестоко и буйно. Ведь не зря же в России родилась поговорка: «Из грязи в князи всё равно грязь...», а «дедушки» в этом преуспевали.

Я прослужил два с половиной года и не видел дедовщины. Наш род войск, где офицеры, скорее старшие товарищи, чем командиры, ей вообще не соответствовал. Кроме того — ситуация. В ШМАСе мы все, кроме сержантов-помкомвзводов, наших первых командиров, были молодыми первогодками, то есть,

равными друг другу. В полку мы сразу становились солдатами второго года службы — уже основой подразделения. К тому же за каждым механиком: и второго года, и третьего года одинаково был закреплён самолёт или какая-то служба, и каждый занимался своим «объектом». Правда, иногда старшина делал «дедам» некоторые поблажки при распределении нарядов, но то и были именно поблажки, не более.

А главное, тогда никто не пугал армией, ребята действительно возвращались из армии возмужавшими, окрепшими и физически, и духом, — уходили пацанами, а возвращались мужчинами. И это видели все.

Удивительно или нет, но я не встречал ещё ни одного человека, прошедшего Советскую Армию, который бы сказал, что ему в армии было плохо. У каждого было что-то своё, бывало трудно, но никогда плохо, — потому каждый говорил о своей службе с гордостью и достоинством. Потому что не только риторически, — традиционно считал себя причастным к великому делу защиты своей Родины, чувствовал у себя за спиной, помимо великого государства, и единый многонациональный народ, в числе которого были и близкие ему люди. Армия делала нас патриотами и совсем не через неистовую пропаганду.

Так и должно быть...

## 21

У меня оставался ещё целый день до отъезда — поезд мой уходил в 22-30. Город я уже осмотрел достаточно и почти всё, что хотел, увидел. И я был вначале уверен, что в этот заключительный день моего пребывания в Астрахани я обязательно найду последнее из того, что искал: оставалась лишь наша база с аэродромом, — мне очень хотелось приблизиться к ней, глянуть «хоть одним глазком» на ворота КПП, может, прикоснуться к ним рукой, даже понимая, что это уже совсем другой объект. Но надо ведь постоять рядом с ним, подышать воздухом пятидеся-



тилетней выдержки вокруг него, что-то почувствовать внутри себя (надеяться на то, что меня пропустят за ворота КПП я не мог никак) и удовлетворённым уйти — вот и вся моя цель, вся мечта. Но, как всегда неожиданно вмешалось это самое «но».

Вечером из Ростова прилетели две проблемы. Как раз в то время, когда я, сидя за планшетом, подводил итоги второго дня. Часов около восьми вечера мне позвонил из Ростова один наш писатель и рассказал о двух серьёзных проблемах, которые образовались в моё отсутствие. Потом позвонил ещё один, потом ещё и ещё. В тот вечер звонки от писателей отделения сыпались как из рога изобилия.

Проблемы эти не имели никакого отношения к моему визиту в Астрахань и этим моим запискам, поэтому я их не привожу подробно, а лишь упоминаю о них, потому что драгоценного времени поездки они у меня забрали предостаточно и сломали практически все дальнейшие планы и намерения.

Но получить всю полноту информации было необходимо, поэтому и мне в свою очередь пришлось звонить в Ростов и даже в Москву. Этот встречный «перезвон» тянулся до поздней ночи, а утром продолжился снова. Полдня ушло на выяснения: информация, наконец, получена, выводы сделаны, но настрой куда-то бежать и что-то искать уже исчез совсем — только нервная усталость. Своё дело этот «перезвон» совершил: мне уже ничего не хотелось, я уже ни к чему не стремился. Да и времени до отъезда оставалось не так много. «Песня души» была прервана на самой «высокой ноте». И я стал элементарно собираться домой. Даст Бог, ещё раз приеду, увижу город, который всё также влечёт меня к себе...

Соседями по купе оказались две женщины-астраханки: мама со взрослой дочерью — очень приятные люди. Странно только, что мама на вид была стопроцентной калмычкой или казашкой, хотя говорила по-русски чисто, совершенно без акцента, а дочь — вылитая светловолосая и белокожая славянка.

Впрочем, она могла быть и приёмной дочерью. Когда я всё же решился спросить у них об аэродроме в Трусово, мать ответила: «Кажется есть в Трусово, какой-то аэродром, по-моему, он называется «Восточный». В знак подтверждения её слов, дочь кивнула головой.

Ну, слава Богу, хоть что-то узнал. Правда, поздновато. Позже дочь, покопавшись в теле-фоне, всё же нашла в Интернете значок на карте города, означавший «Аэродром Восточный», который ни о чём не говорил и понять по карте, что это такое, было невозможно. Единственно, что я понял, он находился на том самом месте, где и должен был находиться, и всё. И ещё я понял, что искать мне нужно было, двигаясь не на север вдоль Волги, а на запад от неё. Я уже писал, что наша база была довольно далеко от реки. Но я этого не учёл в своих поисках.

Теперь всё это было уже не нужным мне, — поезд настойчиво стучал колёсами по рельсам, всё больше отдаляя меня от города Астрахань. Но я всё-таки подумал тогда: раз подобный объект есть на Интернет-карте, города, теперь он вполне может быть лишь географическим названием городских кварталов, как, например в Москве «метро «Аэропорт» без аэропорта и все мои поиски всё равно были бы тщетными. Всё может быть. Понятие «Аэродром Восточный» ещё не означает наличие на нём военных самолётов и присутствия военной базы, может там теперь что-то вроде лётной школы или отделения современного ДОСААФ, или просто сохранено название. За полвека город поглотил территорию базы и аэродрома, и там, где раньше была дикая астраханская степь, теперь появились жилые дома. А мне-то нужно было сделать самое простое: всего лишь взять такси и сказать водителю: «К аэродрому Восточный...» Тогда бы из этого может быть что-нибудь и вышло. В общем, одно — «если бы да кабы...». Ведь раньше там была степь со своими степными ориентирами, а теперь незнакомый мне город без ориентиров для меня. Случилась какая-то неудача, но, видимо,

---

так и должно было быть... И я резко перехотел искать. И может, в этом главная причина неудачи.

Сейчас сколько не оправдывай свои действия, сколько не ищи уважительные причины, — всё бесполезно, — эпизод закончился, и действие по нему уже не возвращается, лишь чуточку оставляет надежду на повтор. Поезд на Ростов уходил в черноту астраханской ночи...

Время — такая коварная штука, оно всё меняет, всё стирает, и ничего ты в нём не «найдёшь, если не вовремя», как бы не надувался от желания и усердия.

Непредвиденные обстоятельства в Ростове прервали «песню моей души», но всё равно она дала мне положительный заряд — я побывал в городе своей юности, который по-прежнему мне дорог... Теперь, я надеюсь, что читателю, если таковой найдётся, будет понятно, зачем я так стремился к заветной цели, и совершил эту поездку, чтобы снова ощутить какие-то мгновения далёкой юности, и почему мне было всё же трудно признавать тот факт, что я так и не достиг её. Или почти не достиг...

«Ну что, нашёл? — возможно, кто-то, прочитав эту повесть, ехидно спросит. — Ни черта ты не нашёл, только зря потратил деньги и время... Чу-удило...»

В ответ я, скорее всего, промолчу. Потому что, не бывает зря потраченного времени, ведь потраченное тобою время, — это часть твоей жизни, а в жизни человека, говорят, многое предопределено, но не бывает зря потраченного времени. Да и была же «песня души», звучала она, звала меня вперёд. И что с того, что песню эту смогли прервать обстоятельства, она продолжала звучать во мне своими отголосками и всю обратную дорогу, и год спустя, да и сегодня ещё не стихла совсем. У человека почти всегда есть надежда повторить что-то очень желаемое...

Ну и, естественно, мне хочется, чтобы читатель мой был заинтересованным, тогда он поймёт мои заметки... И — мои стремления... А это главное...

Ну, а «на нет и суда нет...»

22

Эту главку пришлось спешно дописывать уже после публикации повести на сайте «Донской писатель». Она возникла внезапно, сама по себе, но обойти её своим вниманием я не мог, так как события в ней как бы выводили меня на цель и вновь на высокой ноте завершали мои поиски.

Как порою бывает в жизни, человек что-то ищет, прилагает максимум усилий в поисках, но у него ничего не получается, и он, в конце концов, смиряется, находит себе какие-то компромиссные объяснения и прекращает поиски. И тут вдруг события начинают развиваться сами по себе, без участия человека, и, вопреки всему, неожиданно приносят положительный результат.

Так или примерно так случилось и со мной. Прошёл почти месяц с тех пор, как я поставил заключительную точку этой повести, подготовил и отправил для публикации на сайте «Дон-писатель», и вот однажды я, без всякой мыслимой причине, работая с Интернетом, решил ещё раз посмотреть на карте «аэродром Восточный» — может, что-то разберу в неясных изображениях нагромождений улиц и кварталов.

Как обычно высветился красный флажок на месте объекта и название «Аэродром Восточный», разобрать ещё что-то было практически невозможно, и я хотел уже было уйти с сайта, как вдруг из большого красного флажка выскочил маленький зелёный и, словно взлетающий самолёт, помчался куда-то на север, неся на себе надпись: «Аэродром Приволжский».

Ага, вот оно что! Вышло то, о чём совершенно не думал, чего не предполагал. И я начал догадываться, что аэродром Восточный — это и есть тот гражданский «аппендикс» нашего военного аэродрома, на котором мы встречали «дорогого Леонида Ильича», а вот «аэродром Приволжский» — это уже кое-что новое и неожиданное, но, видимо, мне необходимое. И

начал искать в Интернете. И нашёл. Даже Википедию. Нашёл всё, что мне было нужно.

Какая же радость была для меня, когда я понял, что аэродром «Приволжский» — это и есть та самая авиабаза, на которой я служил! Что полк мой существует ныне и называется он почти также: «Учебный Центр Боевого Применения Авиации», только без Варшавского Договора! И даже почтовый номер нашей воинской части — тот же самый. Нашлись и более современные фотографии. Только самолёты, естественно, уже другие. Хотя и жаль нашего красавчика, боевого друга, но, к сожалению, всему своё время...

И снова душа будто запела. Это был щедрый подарок свыше!

Пусть, таким образом, но я всё-таки узнал, увидел, понял, ощутил свой полк, эскадрилью. Почувствовал их дух! Всё сразу стало зримым, настоящим. И отказаться от этой добавки к тексту, которая как бы подводит итог моих усилий и чаяний, приносит, если не ощущение победы, то чувство достижения цели, — я уже не мог, понимая его незавершенность, которую не должен ощущать читатель.

Ну, вот теперь, видимо, всё — добавлять нечего, но ставлю не точку, а многоточие... А вдруг?!

*25 августа 2022 года — 28 октября 2023 г.  
Астрахань, Ростов-на-Дону*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

Синие тени на стёртых камнях. <i>Маленькая повесть.</i>	5
Будто прерванная песня души. <i>Маленькая повесть.</i>	38

---

## БЕРЕГОВОЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Маленькие повести.

*Редактор В. Зименко*

*Вёрстка В. Анистратовой*

*Издательство Литературного фонда России*

*«Донской писатель»*

*344002, Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 1 оф.2*

*т. 8-918-599-67-51*

Подписано в печать 20.07.2024 г. Формат 60x84 1/16

Объем 102 стр. Обложка картон «Лён» 4+0

Бумага офсет. Тираж 300 экз.

Гарнитура Times New Roman